

Петр Боборыкин

Китай-город



Петр Боборыкин

Китай-город

«Public Domain»

1882

Боборыкин П. Д.

Китай-город / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1882

Роман «Китай-город» был первым значительным произведением писателя. В этом романе Боборыкин изображает жизнь московской просвещенной буржуазии конца 70-х и начала 80-х гг., отличную от героев «темного царства» первых пьес Островского. Роман начинается с интересного изображения быта торговой Москвы и ряда персонажей новой буржуазии.

© Боборыкин П. Д., 1882

© Public Domain, 1882

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
КНИГА ВТОРАЯ	56
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Петр Дмитриевич Боборыкин

Китай-город

Роман в пяти книгах

КНИГА ПЕРВАЯ

I

В «городе», на площади против биржи, шла будничная дообеденная жизнь. Выдался теплый сентябрьский день с легким ветерком. Солнца было много. Оно падало столбом на середину площади, между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо оно светило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы. Между ними извивались извозчицы пролетки, изредка проезжала карета, выкидывал ногами серый жирный жеребец в широкой купеческой эгоистке московского фасона. На перекрестках выходили беспрестанные остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжал и махал рукой. Растерявшаяся покупательница, не добежав до другого тротуара, роняла картуз с чем-то съестным и громко ахала. По острой разъезженной мостовой грохот и шум немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла магазинов. Тучки пыли летели отовсюду. Возы и обозы наполняли воздух всякими испарениями и запахами – то отдаст москательным товаром, то спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то дольется струя, вся переполненная постным маслом, или луком, или соленой рыбой. Снизу из-за биржи, с задов старого гостиного двора поползет целая полоса воздуха, пресыщенного пресным откусом бумажного товара, прессованных штук бумазеи, миткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых рогожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся бурые, безобразно пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лягз и треск железных брусьев и шин. Тянутся возы с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут звоном телеги с кожами. И все это облито солнцем и укутано пылью. Кому-то нужен этот товар? «Город» хоронит его и распределяет по всей стране.

Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, где все жаждет наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать и не купить.

На возах и в обозах, рядом и позади телег, ломовой, в измятой шляпенке или засаленном картузе, с мощной спиной, в красной жилетке и пудовых сапогах, шагает с перевалом, невозмутимо-стойко, с трудовой ленью, покрикивая, ругаясь, похлестывает кнутом своего чалого широкогрудого и всегда опоенного мерина под раскрашенной дугой. Вот луч солнца, точно отделившись от огненного своего снопа, пронизывает облако пыли и падает на воз с чем-то темным и рыхлым, прикрытым рогожей, насквозь промоченной и обтрепанной по краям. На возу покачивается парень без шапки, с желтыми плоскими волосами, красный, в веснушках, в пестрядинной рубахе с расстегнутым воротом, открывающим белую грудь и медный тельник. Глаза его жмурятся от солнца и удовольствия. Он широко растянул рот и засовывает в него кусок папушника, держа его обеими руками. На папушник намазана желтая икра, перемешанная с кусочками крошеного лука, промозгло-соленая, тронутая теплом. Но глаза парня совсем

закатились от наслаждения. Он облизывается и вкусно чмокает, а тем временем незаметно сползает все по скользкой и смрадной рогожке. С воза обдает его гнилью и газами разложения. Зубы щелкают, щеки раздулись; он обедает сладко и вдосталь.

А за ним, снизу от Ножовой линии, сбоку из Черкасского переулка, сверху от Ильинских ворот ползет товар, и над этой колышущейся полосой из лошадей, экипажей, возов, людских голов стоит стон: рубль купца, спина мужика поют свою нескончаемую песню...

II

У биржи полегоньку собираются мелкие «зайцы» – жидки, восточники, шустрые маклаки из ярославцев, греки... Два жандарма, поставленные тут затем, чтобы не было толкотни и недозволенного торга и чтобы именитые купцы могли беспрепятственно подъезжать, похажируют и нет-нет да и ткнут в воздух рукой. Но дела идут своим порядком. И на тротуаре и около легковых извозчиков, на площади и ниже, к старым рядам, стоят кучки; юркие чуйки и пальто перебегают от одной группы к другой. Двое смельчаков присуждались даже к жирандоли около колонн тяжелого фронтона. Потом они отошли к углу дома Троицкого подворья, стали в двух шагах от подъезда и продолжали свои переговоры. Они со всех сторон были освещены. Один, в белой папаше и длинной черкеске желто-бурого цвета, при кинжале и в узких штанах с позументом, глядел на своего собеседника – скопца – разбойничьими, круглыми и глупыми глазами и все дергал его за борт длинного сюртука. Скопец немного подавался назад, про себя вздыхал и часто вскидывал глазами вверх.

Кругом мальчишки выкрикивали уличный товар. Куски красного арбуза вырезывались издали. А там вон, на лотках, – золотистые кисти винограда вперемежку с темно-красным наливным крымским величиной в добрую сливу и с подрумяненной антоновкой. Разносчики газет забегали с тротуара на середину площади и совали прохожим под нос номера листов с яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазин с нарядным подъездом и щеголеватой вывеской придавал нижнему этажу монументального дома богатых монахов европейский вид. На углу купол башни в новом заграничном стиле прихорашивал всю эту кучу тяжелых, приземистых каменных ящиков, уходил в небо, напоминая каждому, что старые времена прошли, пора пускать и приманку для глаз, давать архитекторам хорошие деньги, чтобы весело было господам купцам платить за трактиры и лавки.

А там, дальше, виднелся кусок теплых «рядов». Лестница с аркой, переходы, мостики, широкие окна манили покупателя прохладой летом, убежищем от дождя осенью и теплом в трескучие морозы. Узкий переулок уходил вдоль к Никольской, точно коридор с низким, в один этаж, корпусом по левую руку. Церковь с старинными очертаниями глав и ребер крыши выглядывала сбоку из-за домов. Вся небольшая площадь улыбалась, точно ядреная купчиха, надевшая все свои кольца и серьги; только на волосах у ней «головка», а остальное все по моде, куплено у немца и дорогой ценой. Свет особенно ласково играл в зеркальных стеклах дома, где нет кое-каких лавок, а каждое помещение оплачивается многими тысячами. Дом, сдавленный, четырехэтажный, по цвету как будто из цельного камня, не испортил бы и лондонский Cheapside или гамбургский Jungfer-Stieg.

Он смотрит на своего соседа и радуется. Такого соседства не стыдно. Но там все-таки трактир, служат молодцы в рубашках; а в нем все на благородный аршин и покрой. Швейцары в ливреях, массивные двери, чугунные лестницы, глянцевиные конторки, за конторками тихий, благообразный и выученный народ, хоть в любой всемирно известный дом, хоть к самому Ротшильду. Правда, деньги на руках у артельщиков; но артельщики сидят за решетками, их не видно, да и они по благообразию подходят к дубовым рамам с блистающими стеклами. Только в одном углу площади запоздалые мостовщики разворотили целых полдесятины, стесняют езду и шутиливо перекликаются с ломовыми и кучерами. Они отделили себя бечевкой и полдничают,

сидя на куче голышей вокруг деревянной чашки, куда они в квас накрошили огурцов, луку, вяленой рыбы, и хлебают не спеша, вытянувши ноги, окутанные в тряпки поверх лаптей. Им любо! Солнышко щекочет им загривки. Дождя, знать, не будет до ночи, и то славу Богу!

III

В банке, вверх по Ильинке, с монументальной чугунной лестницей и сажеными зеркальными окнами все в движении. Длинная, в целый манеж, зала с пролетными арками в обе стороны наполнена гулом голосов, ходьбой, шелканьем счетов, скрипом перьев. Ясеневого дерева перила и толстые балясины празднично блестят. На них приятно отдыхает глаз. Над каждым отделением вывешены доски с золотыми буквами: «Учет векселей», «Прием вкладов», «Текущие счета». За решеткой столько же жизни, как и в узковатой полосе, где толчется и проходит публика. Контористы, иные с модным пробором, иные под гребенку, все в хорошо сшитых сюртуках и визитках, мелькают за конторками: то встанут с огромной книгой и перебегают с места на место, то точно ныряют, только головы их видны на несколько секунд. Всего больше народа у вкладов и выдачи денег по текущим счетам. Сквозь кучку, где выделялся священник с большим наперсным крестом, в шоколадной рясе и дама с кожаным мешком, немного тугая на ухо и бестолковая, ловко протискался, никого особенно не задев, лет под тридцать, не красавец, но заметной и своеобразной наружности: плотный, широкий в плечах, повыше среднего роста, с перехватом в талье длинного двухбортного сюртука, видимо вышедшего из мастерской француза. Голова его, небольшая, круглая, выпуклая в боках, с крутым лбом, сидела на туловище чрезвычайно свободно, поворачивалась часто и легко. Волосы пепельного цвета, мягкие, некурчавые, лежали на лбу широкой прядью, как на бюстах императора Траяна. Борода, немного потемнее, так же как и усы, расчесана была посредине, где образовался точно веер с целой градацией оттенков, начиная от ярко-белокурого на самом проборе. Губы полускрывали тонкие усы, ничем не смазанные. Нос утолщался книзу. Посредине его шел желобок, делавший его шире и некрасивее. Светло-карие глаза смотрели возбужденно. В них были видны и юркость, и сознание здоровья и силы, и склонность все обсмотреть, взвесить и оценить, в то время как легкие складки вдоль носа и приподнятые углы рта улыбались снисходительно, а при случае и вкрадчиво.

В посадке этого мужчины, в том, как сидел на нем сюртук, как он был застегнут, в походке и покрое панталон – опытный глаз отличил бы бывшего военного, даже кавалериста. Звали его Палтусов.

Он протянул руку к контористу – тот в эту минуту подавал даме книгу расписаться – и чуть-чуть дотронулся до его плеча.

– Евграф Петрович в директорской? – спросил он теноровым голосом, скоро, тоном своего человека, умеющего делать вопросы служащим и не мешать им.

– Как же, пожалуйста! – ответил конторист с улыбкой.

Палтусов незаметно приосанился, передал низкую поярковую шляпу из правой руки в левую и пошел к стеклянным дверям кабинета, где сидят обыкновенно директора.

Навстречу попался ему в приемной – там стоял диван и стол с двумя креслами – совсем круглый человек, молодой, не старше Палтусова, с вихром на лбу, весь в черном; его веселые темные глаза так и бегали.

– Ба! Андрей Дмитрич! Ко мне? По делу?

– Переводец простой... Зашел посмотреть на вас, – сказал ласково Палтусов.

– Сию минуту. Присядьте. И я тоже здесь примощусь. Я – духом!

Круглый директор присел на кончик дивана. Палтусов поместился по сю сторону стола. Он и не заметил, что тут уже стал конторист с целой пачкой разных печатных бланков, ордеров всяких цветов, длины и рисунка.

– Вы посидите, голубчик, – кидал слова директор, а сам все подмахивал, – я мигом. Нынче каторжный день! Такие задаются... Это что?

– В учетный-с.

– Ладно... Я вас сам сведу к контролеру. Он у нас строгий. Пожалуй, придерется – скажет, личность не известна.

– Знает меня.

– Придерется! А малый – золото! Формалист. В контроле служил... Это еще что?

– Это Федор Карлыч просили подписать, – доложил конторист.

– А ежели провермся?

– Они говорят, что ничего.

– Ну, коли ничего, так я подпишу.

Маленькая белая рука директора так и летала по бланкам. Подпишет вдоль, а потом поперек и в третьем месте еще что-то отметит. Палтусов любовался, глядя на эту наметанность. В голове круглого человека происходило два течения мыслей и фактов. Он внимательно осматривал каждый ордер и подписывал все с одним и тем же замысловатым росчерком, а в то же время продолжал говорить, улыбался, не успевал выговаривать всего, что выскакивало у него в голове.

– Довольно? – спросил он и вздохнул.

– Пока все-с, – ответил конторист.

– Ну, грядите с миром. Дайте передышку.

Конторист вышел. Они остались вдвоем.

IV

– Очень рад, что зашли, – начал еще радушнее директор.

Подсаживаясь к Палтусову, он потрепал его по плечу и заглянул в глаза.

Тот встал.

– Боялся помешать вам.

– Нам ведь всегда некогда. Наше дело: чик, чик, чик пером, и только пронесите, святые угодушки! А то и подмахнешь ордерок на полмиллиончика... иудейской фабрикации. А потом и печатай портрет в «Клад-дередаче»!..

И он захохотал визгливой дробью.

Палтусов вторил ему легким барским смехом.

– Вы захаживайте... Ненадолго... Да ведь вам где же... Все около женского пола...

– Какое!

– Да нечего!.. Куда ни пойдешь, а уж Андрей Дмитрич ведет под руку то Марью Орестовну, то Людмилу Петровну, то Анну Серафимовну. А супруг сзади пардесю¹ волочит... И все каких! Первого разбора, миллионы все под ними трещат! С золотым обрезом!

Они вышли в общую залу. Директор поддерживал Палтусова под правое плечо, смеялся, мигал и заглядывал в лицо. Палтусов только качал головой.

– Все балагурите, Евграф Петрович.

– Куда ни пойдешь – везде он кавалером и руку сейчас согнет. И в Кунцеве, и в Сокольниках на кругу, и в Люблине, опять в Парке... А зимой! И в маскараде-то по две маски разом... Мы тоже ведь имеем наблюдение...

– А сами-то?

– Что ж?.. я маскарады лю-блю-ю, – протянул директор и быстро опустил голову вниз, к груди Палтусова. – Люблю. Это развлечение по мне. День-деньской здесь в банке-то этой, –

¹ пальто (от *фр.*: pardessus).

сострил он, – ровно рыжик в уксусе болтаешься, одурь возьмет!.. Ни на какое путное дело не годишься. Ей-ей! В карты я не играю. Ну и завернешь в маскарад. Мужчина я нетронутый... Жених в самой поре. Только еще тоски не чувствую.

Он остановил Палтусова в проходе против лестницы и взял его своими короткими руками за бока.

– Что же не сватаетесь?

– Говорю, тоски еще не чувствую. Над нами не каплет. Что ж, это вы хорошо делаете, что промежду нашим братом – купеческим сыном – обращаетесь. – Он стал говорить тише. – Давно пора. Вы – бравый! И на войну ходили, и учились, знаете все... Таких нам и нужно. Да что же вы в гласные-то?

– Не собственник...

– Эка! Промысловое свидетельство! Табачную лавочку! Пустое дело. А ведь они у нас глупят так, что нет никакой возможности. Я и ездить нынче перестал; кричали в те поры: не надо нам бар, не надо ученых, давай простецов. Сами речи умеем говорить... Вот и договорились!

Директор опять подхватил Палтусова под правое плечо. Палтусов улыбался и думал в эту минуту в ответ на то, что ему говорил круглый человечек. Он почти всегда думал о себе, потому тихая усмешка так часто и всплывала на его лице.

V

– Вот и контрольная, – довел его директор до широкой двойной конторки за перилами.

Директору поклонился сухощавый блондин с лысиной, в цветном галстуке. Палтусов уже видел его, но по имени не знал.

– Вот им переводец, – сказал директор контролеру.

– Очень хорошо-с! – ответил тот одним духом и нахмурил брови.

У него в руках было несколько листов, за ухом торчало перо, во рту – карандаш. Он что-то искал. Щеки его покраснели. Нервно перебрасывал он ворох векселей, телеграмм с переводами, ордеров – и не находил. Его нервность сказывалась в порывистых движениях рук, головы и даже всего корпуса. Он то и дело вертелся на каблуках. Выхватит один бланк, отбросит, потом опять схватит и насадит на медный крючок, висевший на стене за его спиной, начнет снова швырять и выдувать воздух носом, а левой рукой ерошит себе редкие волосы около лысины.

Кругом барьера дожидалось человек пять, больше артельщики.

– Павел Павлыч! – окликнул еще раз директор. – Пожалуйста, не задержите Андрея Дмитриевича.

И он своими глазками указывал Палтусову, как тормозится контролер.

– Позвольте-с, – кинул тот Палтусову и с сердцем насадил на крючок еще два бланка.

Палтусов достал перевод из большого гладкого портфеля венской работы, в виде пакета. Он передал сизый листок директору. Тот сейчас же схватил глазами сумму.

– Выиграли, что ли, первого сентября? – спросил он, прищурившись. – Или тетенька какая Богу душу отдала?

– Ни то, ни другое. Так, оставались деньжонки... Вексель был на несколько тысяч рублей.

Контролер вручил одному из артельщиков четыре листка разных цветов, перечеркнутые и помеченные и карандашом и чернилами, и сказал вслух, так что директор и Палтусов слышали:

– И все от несоблюдения правил! А тут и задерживай публику!

Директор протянул ему вексель Палтусова.

– Золото человек! – сказал он шепотом, отведя Палтусова в угол. – Дорогого стоит, а копуга. А вы, голубчик, к нам на текущий? Ведь вы – у нас?

– Да, пускай лежат...

– Бумаг не будете покупать?

– Может быть...

– Мы этим не промышляем. Вот и биржа... Смотришь на такого русского молодца, как вы, и озор берет. Что ни маклер – немчура. От папеньки досталось. А немцы, как собаки, везде снюхаются!..

Оба расхохотались.

– Помилуйте, – продолжал горячиться директор. – Карлушка какой-нибудь паршивый, пара галстуков была у него да кальсоны вязаные, состоял на побегушках у жида в Зарядье, а глядишь, годика через три – биржевой маклер. Немцы выклянчили – в двадцати тысячах дохода... За невестой куш берет... Сами вы плошаете, господа!

– Дайте срок! – вырвалось у Палтусова, и он поправил тотчас же булавку на галстуке, точно хотел сдержать себя.

– Евграф Петрович! – тихо выговорил уже другой конторист, не тот, что был в директорской. – Ждут-с...

И он протягивал пачку ордеров.

– Ну, заболтался; прощайте, голубчик, увидимся! В первом же маскараде, октябрь на дворе. Павел Павлыч! – крикнул директор через спины и головы артельщиков. – Не задержите господина Палтусова – прошу!

Ножки его засеменяли. Молоденький конторист еле успевал догонять его. Директор на ходу обернулся и сделал Палтусову ручкой.

Исполнительный контролер спустил свою публику скоро, совал им в руки листы с суровой поспешностью. Палтусова он отличил почтительным приглашением:

– Пожалуйста в кассу. Первая вправо-с!

Касса, где Палтусову пришлось получить деньги, которые он тут же перевел на текущий счет, – расчетную книжку он захватил, – помещалась около той, куда вносили. Пока вписывали ему сумму и переводили деньги из одной кассы в другую, Палтусов, облокотившись о дубовый выступ кассы, смотрел на то, как считали пачки ассигнаций в стороне, за небольшим желтым столом, усеянным листками розовых и белых бланков. Считало несколько молодцов в чуйках и длиннополых сибирках, посланные хозяевами. Он с особым выражением оглядывал и мальчишек лет двенадцати-десяти, чумазых, в рваных полушубках, присланных за кушами или с кушами в десятки тысяч. Они брали пачки, перевязанные веревочками, развязывали их, мусолили грязные пальцы и принимались считать. Иные и совсем не считали, а просто доставали пачки из холщовых мешков и накладывали их на прилавок, перед решеткой кассира, без всякой бережи, точно картофель или репу. В глазах Палтусова так и рябило. Тысячные пачки сторублевок, выданные из банка и аккуратно сложенные, возвышались стопками на столе и похожи были издали на кипы книжек. На текущий счет приносили больше засаленные бумажки, и мальчишки комкали их, укладывая на прилавок. В десять минут перед глазами Палтусова пропестрели сотни тысяч. И он все не мог надивиться тому, что детям, неграмотным, без всякой опаски и контроля поручают капиталы.

«В такой стране не нажиться? – говорили его разбегающиеся карие глаза. – Да надо быть кретином!»

VI

Внизу, у подъезда, стояла его пролетка. Он ездил с месячным извозчиком на красивой, но павшей на ноги серой лошади. Пролетка была новая, полуторная. Работнику он приплачивал шесть рублей в месяц; подарил ему три пары замшевых перчаток и два белых платка на шею. Платил он за экипаж восемьдесят рублей.

Палтусов получил обратно свою расчетную книжку. Когда швейцар подал ему очень длинное коричневое пальто, однобортное, с круглым широким воротником-шалью, он инстинктивно ощупал в правом кармане сюртука и портфель и книжку. Швейцарам он везде – и в банках, и в амбарах у богатых купцов, и в присутственных местах – давал часто и много на водку.

Один из унтер-офицеров выбежал на подъезд и крикнул:

– Подавай!..

Другой подал Палтусову его мохнатое, лиловое с черным, одеяло, которым он прикрывал ноги. Он это делал и любя теплоту и оберегая ноги от летучего ревматизма, схваченного, как он говорил, в Болгарии, во время перехода через Балканы.

Пролетка стала подъезжать; но ее задержал целый обоз, ехавший из переулка с ящиками макарон и вермишели. Кучер Палтусова выругался, но, взглянув на барина, – замолчал. Барин степенно натягивал на правую руку серую шведскую перчатку и поглядывал по сторонам, вдыхал в себя свежесть улицы, все еще недостаточно нагретой сентябрьским солнцем. Ему давно нравился «город». Он чувствовал художественную красоту в этом скопище азиатских и европейских зданий, улиц, закоулков, перекрестков. Ему были по душе это шумное движение ценностей, обозы, вывески, амбары, склады, суэта и напряжение огромного промыслового пункта.

«Тут сила, – думалось ему всегда, как только он попадал в „город“, – мощна, производительность!..»!

Не на ветер летят тут деньги, а идут на како–нибудь новое дело. И жизнь подходила к рамке. Для такого рынка такие нужны и ряды, и церкви, и краски на штукатурке, и трактиры, и вывески. Орда и Византия и скопидомная московская Русь глядели тут из каждой старой трещины.

Глаза Палтусова обернулись в сторону яркого красного пятна – церкви «Никола большой крест», раскинувшейся на целый квартал. Алая краска горела на солнце, белые украшения карнизов, арок, окон, куполов придавали игривость, легкость храму, стоящему у входа в главную улицу, точно затем, чтобы сейчас же всякий иноземец понял, где он, чего ему ждать, чем любоваться!

Палтусов загляделся на одну из боковых главок. Весело у него стало на сердце. Деньги, хоть и небольшие, есть, лежат вон там, наверху, связи растут, охоты и выдержки немало... двадцать восемь лет, воображение играет и поможет ему найти теплое место в тени громадных гор из хлопка и миткаля, промежду миллионного склада чая и невзрачной, но денежной лавчонкш серебряника-менялы.

Провезли наконец макароны и вермишель. Палтусова усадил швейцар, подоткнув с обеих сторон одеяло, и низко поклонился.

Кучер сделал головой полуоборот и дотронулся до зада лошади синей вожжой.

– В трактир! – приказал барин.

Пролетка повернула на Варварку, проехала мимо церкви великомученицы Варвары с ее окраской свежего зеленого сыра и лихо остановилась у подъезда двухэтажного трактира, ничем не отличающегося на вид от первого попавшегося заведения средней руки.

Спертый влажный воздух с запахом табачного дыма, кипятка, половиков и пряностей обдал Палтусова, когда он всходил по лестнице. Направо, в просторном аквариуме-садке, вертелась или лениво двигалась рыба. Этот трактирный аквариум тоже нравился Палтусову. Он всегда подходил к нему и разглядывал какую-нибудь матерую стерлядь. Из-за буфета выставилась голова приказчика в немецком платье и кланялась ему.

– Калакуцкий здесь? – звонко спросил Палтусов у молодца при сбережении платья.

Молодец затруднился. Подскочил приказчик.

– Калакуцкого знаете, Сергея Степановича? – переспросил Палтусов.

Приказчик закрыл на секунду глаза и выговорил почти на ухо:

– Не приметил. Наверяд ли-с.

Палтусов поблагодарил его наклоном головы и взял сначала вправо, в угловую комнату с камином, где больше завтракают, чем пьют чай. Там было еще не много народу. Он вернулся и прошел через ряд комнат налево, набитых мелким торговым людом. Крайняя, почище и попросторнее, известна тем, что там пьют чай и завтракают воротилы старого гостиного двора. Около часу всегда можно слышать голос Пантелея Ивановича, первого «прядильщика», рассуждающего, поплеывая и шепелявя, о политических делах. И половые в этой комнате служат иначе, ходят чуть слышно, обращаются к гостям с почтительной сладостью. Чай и завтраки часто затягиваются, разговор хозяев переходит к своим делам. В воздухе запахнет сотнями тысяч. Половые, у притолоки или в стороне у печки, слушают с неподвижными и напряженными, потеющими лицами.

И в этой комнате не было того господина. Они согласились завтракать в особой комнате, в «сосновой» или «березовой».

Палтусов осведомился, нет ли Калакуцкого в одной из них. И там его не было.

Часы показывали десять минут первого.

– Проводи меня в березовую, наверх, – сказал Палтусов мальчику-половому, бледнолицему парню лет четырнадцати, в коротких белых штанах и с плоскими волосами, густо смазанными коровьим маслом.

Мальчик провел его в дверь налево от буфета. Они миновали узкий коридор. Мальчик начал подниматься по лесенке с раскрашенными деревянными перилами и привел на вышку, где дверь в березовую комнату приходится против лестницы. Он отворил дверь и стал у притолоки. Палтусов оглянулся. Он только мельком видел эту светелку, когда ему раз, после обеда, показывали особенности трактира.

– Пошли кого-нибудь пограмотнее, – сказал он мальчику, – и скажи там швейцару, чтобы господина Калакуцкого проводить сюда.

Подросток поклонился по-деревенски, тряхнул волосами и затворил дверь.

Светелка, вся обшитая некрашеным березовым тесом, приняла его точно в колыбель. В ней чувствовалась свежесть дерева; свет смягчался матовым тоном березы. Самая теснота этого чуланчика возбуждала, веселость. Стулья с высокими спинками из резной березы, с подушками из тисненой красной кожи, зеркало, карнизы, отделка окон и дверей перенесли Палтусова к детским годам. Ему казалось, что он в игрушечном домике и начнет сейчас играть с этой белой мебелью. Из окна над столом, занимающим две трети светелки, вид на Зарядье и Москву-реку тешил глаз яркостью и пестротой цветных пятен – крыши и купола, главки, башенки, а дальше муравейник синеющего Замоскворечья – и превращал трактирный чуланчик в терем.

Палтусов любил все, отзывающееся старой Москвой, любил не один «город», но разные урочища Москвы, находил ее живописной и богатой эффектами, выискивал уголки, пригорки, пункты, откуда открывается какая-нибудь красивая и своеобразная картина. Но мысль его не могла долго оставаться на художественной стороне предмета. В этой трактирной светелке чутье его обоняло и нечто другое. И даже крыши и главы под его ногами говорили ему все о той же бытовой и промысловой жизни. Он точно чуял в воздухе рост капиталов и продуктов. В воображении его поднимались его собственные палаты – в прекрасном старомосковском стиле, с золоченой решеткой на крыше, с изразцами, с резьбой полотенец и столбов. Настоящие барские палаты, но не такие низменные и темные, как тут вот, почти рядом, на Варварке хоромы бояр Романовых, а в пять, в десять раз просторнее. Какая будет у него столовая! Вся в изразцах и в стенной живописи. Печку монументальную, по рисункам Чичагова, закажет в Бельгии. Одна печка будет стоить пять тысяч рублей. Поставцы из темного векового дуба. Какие жбаны, енды, блюда с эмалью будут выглядывать оттуда. Ведь есть же здесь внизу, в этом самом трактире, «русская палата», где всякий нож, каждый стакан сделан по рисунку? Но все-таки это трактир. Тут нет своего, барского, тонкого вкуса, нет любви к вещам, заработанным умом,

бойким умом и знанием людей, их душевной немощи и грязи, их глупости, скаредности, алчности... Славно!

VII

Мечты его прервал половой лет за тридцать, с подстриженной рыжеватой бородкой и впалой грудью, – доверенный молодец, умеющий служить хорошим гостям в отдельных комнатах.

– Ну вот что, голубчик, – скоро заговорил Палтусов, отвернувшись от окна, – закуски нам сначала, но, знаешь, основательной... Балык должен быть теперь свежей полочки от Макария?

– Самолучший.

– Не забудь хрящей. Соленых хрящей... Недурно бы фаршированный калач; да это долго.

– Минут пятнадцать!

– Так не надо. Листовка у вас хороша ли?

– Особенная!

Так обсуждены были и другие водки и закуски. Половой отвечал кратко, но впопад, с наклоном всего туловища и усиленным миганьем серых больших глаз.

И процесс заказыванья в трактире нравился Палтусову. Он любил этих ярославцев, признавал за ними большой ум и такт, считал самую тонкою, приятною и оригинальною прислугой; а он жила в Париже и в Лондоне. Ему хотелось всегда потолковать с половым, видеть склад его ума, чувствовать связь с этим мужиком, способным превратиться в рядчика, в фабриканта, в железнодорожного концессионера.

Фамильярности он не допускал, да ее никогда и не было со стороны ярославца. Всего больше лакомился он чувством меры у такого белорубашника, остриженного в кружало. Он вам и скандальную новость сообщит, и дельный торговый слух, и статейку рекомендует в «Ведомостях», – и все это кстати, сдержанно, как хороший дипломат и полезный собеседник.

– С Богом! – отпустил Палтусов полового. – Тебя как звать?

– Алексеем-с.

– Так вот, голубчик Алексей, скажи там внизу, чтобы не прозевали Калакуцкого.

– Сергея Степаныча?

– Ты знаешь его?

– Помилуйте!..

Алексей не досказал, но его бледные большие губы говорили: «Мне не знать господина Калакуцкого?» Он отворил дверь. Палтусов остановил его движеньем руки.

– Карту вин принеси с закуской и шампанское заморозить.

– Редер? – больше утвердительно, чем звуком вопроса выговорил Алексей.

– Н-да; редер все лучше остальных... – решил Палтусов и опустился на диван, когда шаги Алексея под слышались вниз по лестнице.

Ему захотелось глубоко и сладко вздохнуть. Славное житье в этой пузатой и сочной Москве!.. В Петербурге физически невозможно так себя чувствовать! Глаз притупляется. Везде линия – прямая, тягучая и тоскливая. Дождь, изморось, туман, желтый, грязный свет сквозь свинцовые тучи и облака. Едешь – вся те же дома, тот же «прешпект». У всех геморрой и катар. В ресторане – татары в засаленных фраках, в кабинетах темно, холодно, пахнет вчерашней попойкой; еда безвкусная; облитые диваны. Ничего характерного, своего, не привозного. Нигде не видно, как работает, наживает деньги, охорашивается, выдумывает яства и питья коренной русский человек... То ли дело здесь!

Он вынул из кармана бумажник, достал оттуда какую-то записку, перечел ее, чмокнул губами, потом расчесал бороду перед зеркалом маленьким гребешком в серебряной оправе и снова опустился на диван. Долго рассматривал он свою расчетную книжку. Сумма теперь

округлилась. В голове идут расчеты – быстрые, в цифрах. Он поправляет их и заменяет другими, приводит разные соображения. Отделать квартиру необходимо. Правда, у него номер прекрасный, в две комнаты, но все-таки – номер. Квартира – клади две тысячи. Надо бы и лошадь. Это выгоднее. Он платит восемьдесят рублей в месяц. На это можно держать пару. Вот выпадет снег. Он и начнет с саней – это втрое дешевле хорошей пролетки или одноконного фаэтона. Платья не нужно.

Дверь шумно отворилась. Все пространство ее занял очень высокий, вершков двенадцати, широкий, но не толстый барин в серой шляпе, наполовину покрытой трауром. Он похож был на отставного французского генерала или хозяина цирка; длинные с проседью усы, совсем падающие на галстук, бритое продолговатое лицо, чуть заметная мушка под нижней губой, густые русые брови, лысая голова, под гребенку обстриженная там, где еще росли волосы. Барин одет был живописно: с отложным широким воротником рубашка, в черном коротком, плотно застегнутом пиджаке без талии и панталонах-шароварах к сапогам уже. На груди болталось золотое *pinse-nez*² на широкой ленте.

VIII

– *C'est parfait!*³ – захрипел он. – А я внизу вас ищу!

Палтусов поднялся и, подскочив к Калакуцкому, протянул ему обе руки и пожал его свободную правую руку. Во всех этих движениях проскользнула искательность; но улыбающееся благообразное лицо сохраняло достоинство.

– Пожалуйте, пожалуйста, Сергей Степанович. Я уж распорядился закуской! Разве вас не сейчас же провели? Я приказал.

– Провели...

Калакуцкий немного отдувался и оглянул комнату своими тусклыми глазами навывкате с навислыми веками.

– Да мы здесь задохнемся!..

– Можно отворить окно...

– Ничего... А веселенький ватерклозетик!..

Он рассмеялся задыхающимся смехом. Палтусов ему вторил. Он усадил барина на диван. Тотчас же пришло двое половых. Стол в минуту был уставлен бутылками с пятью сортами водки. Балык, провесная белорыбица, икра и всякая другая закусовая еда заиграла в лучах солнца своим жиром и янтарем. Не забыты были и затребованные Палтусовым соленые хрящи. Калакуцкий заказал завтрак: паровую севрюжку, котлеты из пулярды с трюфелями и разварные груши с рисом. Указано было и красное вино.

– Какой номер-с? – спросил Алексей.

– Да все тот же. Я другого не пью.

И Калакуцкий ткнул пальцем в большую карту вин.

Кушанья поданы были скоро и старательно.

Они еще не успели покончить с солеными хрящами и осетровым балыком, как на столе уже шипела севрюжка в серебряной кастрюле. За закуской Калакуцкий выпил разом две рюмки водки, забил себе куски икры и белорыбицы, засовал за ними рожок горячего калача и потом больше мычал, чем говорил. Но он ел умеренно. Ему нужно было только притупить первое ощущение голода. Тут он сделал передышку.

² пенсне (*фр.*).

³ Это превосходно! (*фр.*).

– Измучился я, *mon bon*⁴, должен был лазить по лесам... Канальи!.. Без своего глаза пропадешь, как швед под Полтавой...

Речь шла о стройке. Калакуцкий давно занимался подрядами и стройкой домов и все шел в гору. На Палтусова он обратил внимание, знакомил его с делами. Накануне он назначил ему быть на Варварке в трактире и хотел потолковать с ним «посурьезнее» за завтраком.

Но Палтусов сам не начинал разговора о себе. У него был на это расчет. Калакуцкий – для первых ходов – казался ему самым лучшим рычагом. Нюх говорил Палтусову, что он нужен этому «ловкачу», так он называл его про себя и под этой кличкой даже заносил в записную книжку о Калакуцком.

– Так вы совсем москвичом делаетесь? – спросил его Калакуцкий за севрюжкой.

– Делаюсь.

– Штука любезная. Мы в молодых людях нуждаемся, таких вот, как вы. Очень уж овчиной у нас разит. Никого нельзя ввести в операцию... Или выжига, или хам!..

– Мне нравится Москва.

– Сундук у ней хорош, да не сразу его отопрешь, голубчик. Хамство уж очень меня одолевает иной раз, – даже сам-то овчиной провоняешь... Честной человек!.. Вечером приедешь – так и разит от тебя!..

Он тоже не начинал без подхода. Говорил он одно, а думал другое. Он мысленно осматривал Палтусова. Малый, кажется, на все руки и с достоинством: такое выражение у него в лице, а это – главное с купцами, особенно если из староверов, и с иностранцами. Денег у него нет, да их и не нужно. Однако все лучше, если водится у него пяток-десяток тысяч. Заручиться им надо, предложить пай.

– Вы, я слышу, *mon cher*⁵, – заговорил он, так, между прочим, пропуская стаканчик лафиту, – все с купчихами?..

– Кое-кого знаю, – сказал Палтусов, чуть-чуть улыбнувшись, и отер усы салфеткой.

– Это хорошо! Продолжайте! Надо завязать связи. У Марьи Орестовны бываете?

– Как же.

– Эта из мужа веревки вьет. Он тоже хам и самолюбивое животное. Но его надо ручным сделать. Вы этого не забывают. Ведь он пост занимает. Да что же это я все вам не скажу толком... Вы ведь знаете, – Калакуцкий наклонился к нему через локоть, – вы знаете, что у меня теперь для больших строек... товарищество на вере ладится?

– Слышал, – ответил Палтусов ласково и сдержанно.

– А знаете, что я в прошлом году, когда у нас было простое компаньонство, предоставил моим товарищам?

– В точности не знаю.

– Семьдесят процентиков! *Joli? N'est ce pas?*⁶

– *Joli*, – повторил Палтусов.

Он не любил французить, но выговор был у него гораздо лучше, чем у Калакуцкого.

– Мне бы хотелось и вас примостить. В карман я к вам не залезаю...

– У меня крохи, Сергей Степанович, – выговорил с благородной усмешкой Палтусов.

– Ничего. Когда совсем налажу, скажу вам. Что будет – тащите. Не на текущем же счету по два процента получать!

Палтусов понял тотчас же, почему Калакуцкий сделал ему такое предложение. Это его не заставило попятиться. Напротив, он нашел, что это умно и толково. Он знал, что Калакуц-

⁴ добрейший (*фр.*).

⁵ мой милый (*фр.*).

⁶ Красиво? Не так ли? (*фр.*).

кий зарабатывает большие деньги, и все говорят, что через три-четыре года он будет самый крупный строитель-подрядчик.

– Благодарю вас, – сказал он доверчивым тоном и сейчас же сообщил Калакуцкому, какие у него есть деньжонки, не скрыл и того, в каком они банке лежат и сколько ему нужно, чтобы обзавестись квартирой.

Калакуцкий все это одобрил. Они подходили друг к другу. Строитель был человек малограмотный, нигде не учился, вышел в офицеры из юнкеров, но родился в барской семье. Его прикрывал плохой французский язык и лоск, вывозили сметка и смелость. Но ему нужен был на время пособник в таком роде, как Палтусов, гораздо образованнее, новее, тоньше его самого.

IX

После котлет принесли шампанского. Палтусов угощал им, Калакуцкий принял; но счет завтрака они разделили пополам. Подали кофе и ликеры. Половые ушли, поставив три раскрытых ящика с сигарами.

– Так вот, любезнейший Андрей Дмитрич, – заговорил Калакуцкий, и его глаза уставились на Палтусова, – я хочу вас нанять, или с вами союз заключить.

– В каком смысле? – спросил Палтусов.

Вина он выпил довольно, но язык его был так же сдержан, как и в начале завтрака. Только щеки стали розовее. Он очень от этого похорошел.

– Да в том, сударь мой, что вам надо быть моим тайным агентом.

– Агентом? – переспросил Палтусов, переставив ударение.

– Именно! Ха, ха! Я не в сыщики вас беру. Рассудите – вы мне уже говорили, что желали бы присмотреться к делам и выбрать себе, что на руку. Ну не пойдете же вы ко мне в конторщики или нарядчики?.. Компаньоном – у вас капитала нет... Пай предложу вам с удовольствием. Но этого мало. Вы можете быть весьма и весьма полезны нашим операциям и теперь и после... У меня в голове много проектов. Я целые дни занят, разрываюсь, как каторжный, и страшно от этого теряю... Тут надо человека отыскать, туда заехать, там понюхать. Вот и необходим агент! Но какой? Вы не обижайтесь... такой, чтобы стоил компаньона.

– Понимаю, понимаю, – тихо повторял Палтусов и глядел в стакан с шампанским, точно любовался, как иглы тонкого льда мигали в вине и гнали наверх пузырьки газа.

– И не побрезгуете?

– Идея хороша!

– И тянуть нечего. Проволочка всякому делу – капут!.. А положение простое – процент. Вам небось сказывали, что я умею платить и делиться? Это – первое. Примите добрый совет...

Тут глаза Палтусова слегка покраснели.

– Идея прекрасная, Сергей Степанович! – выговорил он и встал со стаканом в руке. Глаза его обежали и светелку с видом на пестрый ковер крыш и церковных глав, и то, что стояло на столе, и своего собеседника, и себя самого, насколько он мог видеть себя. – У вас есть инициатива! – уже горячее воскликнул он и поднял стакан, приблизив его к Калакуцкому.

– Без ученых слов, голубчик!..

– Нет, позвольте его повторить, Сергей Степанович! Инициатива! По-русски – почин, если вам угодно! Отчего мы, дворяне, люди с образованием, хороших фамилий, уступаем всем этим... Как вы выражаетесь – хамам? Отчего? Оттого, что почина нет... А хам – умен, Сергей Степанович!

– Плут! – вырвалось у Калакуцкого.

– Умен, – повторил Палтусов. – Я его не презираю. Такой же русак, как и мы с вами... Я говорю о мужике, вот об таком Алексее, что служит нам, о рядчике, десятнике, штукатуре...

Мы должны с ними сладиться и сказать купецкой мошне: пора тебе с нами делиться, а не хочешь, так мы тебя под ножку.

– Отлично! Да вы оратор! Разумеется, нам следует выкуривать бороду. Я это и делаю...

– За эту идею позвольте чокнуться, – протянул Палтусов стакан к Калакуцкому.

Тот тоже привстал. Они чокнулись и три раза поцеловались. Это сделалось как-то само собой.

И Калакуцкий начал рассказывать анекдоты из своей практики: как он начинал, чему выучился, сколько раз висел на волоске. Он привирал невольно, в жару разговора, увеличивая цифры убытков и барышей, щеголял своей сметкой и деловой неустрашимостью. Все это отлично схватывал Палтусов; но хвастливые речи строителя, возбужденные вином, пары шампанского, аромат ликеров, дым дорогих сигар образовали вокруг Палтусова атмосферу, в которой его воображение опять заиграло. Ведь вот этот подрядчик не Бог знает какого ума, без знаний, с грубоватой натурой, а ведет же теперь чуть ли не миллионные дела! И надо поклониться ему за это. Он – первый из «пионеров»-дворян пошел на разведки и стал выхватывать куски изо рта толстобрюхих лавочников и целовальников. Явится он, Палтусов, а за ним и другой, и третий – люди тонкие, культурные, все понимающие, и почнут прибирать к рукам этот купецкий «город», доберутся до его кубышек, складов и амбаров, настроят дворцов и скупят у обанкрутившихся купцов их дома, фабрики, лавки, конторы. И ему казалось, точно он не в светелке трактира, а на воздушном шаре поднялся на двести сажен от земли и смотрит оттуда на Москву, на Ильинку, на ряды и площади, на толкотню и езду чуть заметных насекомых-людей.

– А сегодня, *mon cher*, – захрипел опять Калакуцкий, – не угодно ли вам будет исполнить два порученьца?

Палтусов не удивился этой американской быстроте осуществления плана. Он выслушал внимательно, записал, что нужно, переспросил скоро и точно и незаметно, прощаясь с строителем, привел его к размерам процента за свои услуги.

– Видите, – сказал Калакуцкий, выпрямляя грудь. – Дел у меня несколько. Те идут своим чередом. А вот по новому товариществу – на вере. Расходы положим в триста пятьдесят рублей, – протянул он, – и десять процентов с чистой прибыли. *Ça vous va?..*⁷

Палтусов молча поклонился и пожал руку Калакуцкому. В голове его уже сидело черное нотариальное условие, которое он на днях и подбросит патрону.

Он так и назвал его мысленно: «патрон». Это ему не очень понравилось. Он не хотел бы ни от кого зависеть. Но разве это зависимость? Это купля-продажа – не больше.

Калакуцкий сел в дрожки, запряженные парой чубарых лошадок с пристяжкой, и поскакал к Варварским воротам. Палтусов остался в «городе» и велел кучеру «трогать» в «Славянский базар».

Х

Ресторан «Славянского базара» доедал свои завтраки. Оставалось четверть до двух часов. Зала, переделанная из трехэтажного базара, в этот ясный день поражала приезжих из провинции, да и москвичей, кто в ней редко бывал, своим простором, светом сверху, движеньем, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы и помост, выступающий посредине, с купидонами и завитушками, наполняли пустоту огромной махины, останавливали на себе глаз, щекотали по-своему смутное художественное чувство даже у закорюзлых обывателей откуда-нибудь из Чухломы или Варнавина. Идущий овалом ряд широких окон второго этажа, с бюстами русских писателей в простенках, показывал изнутри драпировки, обои под изразцы, фигурные двери, просветы площадок, окон, лестниц. Бассейн с фонтанчиком прибав-

⁷ Это вам подходит?.. (*фр.*).

лял к смягченному топоту ног по асфальту тонкое журчание струек воды. От них шла свежесть, которая говорила как будто о присутствии зелени или грота из мшистых камней. По стенам пологие диваны темно-малинового трипа успокаивали зрение и манили к себе за столы, покрытые свежим, глянцеви́то-выглаженным бельем. Столики поменьше, расставленные по обеим сторонам помоста и столбов, сгущали трактирную жизнь. Черный с украшениями буфет под часами, занимающий всю заднюю стену, покрытый сплошь закусками, смотрел столом богатой лаборатории, где расставлены разноцветные препараты. Справа и слева в передних стояли сумерки. Служители в голубых рубашках и казакинах с сборками на талье, молодцеватые и степенные, молча вешали верхнее платье. Из стеклянных дверей виднелись обширные сени с лестницей наверх, завешенной триповой веревкой с кистями, а в глубине мелькала езда Никольской, блестели вывески и подъезды.

Большими деньгами дышал весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не так старательно содержимый, но хлесткий, бросающийся в нос своим московским комфортом и убранством.

Зала ресторана еще не начала пустеть. Это был час биржевых маклеров и «зайцев» почище, час ранних обедов для приезжих «из губернии» и поздних завтраков для тех, кто любит проводить целые дни за трактирной скатертью. Немцев и евреев сейчас можно было признать по носам, цвету волос, коротким бакенбардам, конторской франтоватости. Они вели за отдельными столами бойкие разговоры, пили не много, но угощали друг друга, посматривали на часы, охорашивались, рассказывали случаи из практики, часто хохотали разом, делали немецкие «вицы»⁸. За большим столом, около самого бассейна, поместилось дворянское семейство, только что приехавшее: отец при солдатском Георгии на коричневом пиджаке, с двойным подбородком, мать – в туалете, гувернантка, штук пять подростков, родственница-девица, бойкая и сердитая, успевшая уже наговорить неприятностей суетливому лакею, тыча ему в нос местоимение «вы», к которому, видимо, не была привычна с прислугою. Они завтракали на целый день, отправляясь осматривать Грановитую палату, царь-пушку, соборы, по дороге синодальную типографию, отслушать молебен у Иверской, поесть пирожков у Филиппова на Тверской и до обеда попасть в Голофтьевскую галерею, где родственница должна непременно купить себе подвязки и пару ботинок и надеть их до театра. А билеты рассчитывали добыть у барышников. Ближе к буфету, за столиком, на одной стороне выделялось двое военных: драгун с воротником персикового цвета и гусар в светло-голубом ментике с серебром. Они «душили» портер. По правую руку, один, с газетой, кончал завтрак седой высохший старик с желтым лицом и плотно остриженными волосами – из Петербурга, большой барин. Он ел медленно и брезгливо, вино пил с водой и, потребовав себе полосканье, вымыл руки из графина. Лакей говорил ему «ваше сиятельство». В одной из ниш два купца-рыбопромышленника крестились, вставая из-за стола. Каждый дал лакею по медному пятаку. Они потребовали одну порцию селянки по-московски и выпили по три рюмки травнику. Купидоны им понравились.

XI

Палтусов вошел в ресторан, остановился спиной к буфету и оглянул залу. Его быстрые дальнзоркие глаза сейчас же различили на противоположном конце, у дверей в комнату, замыкающую ресторан, группу человек в пять биржевиков и между ними того, кто ему был нужен.

Подвернувшемуся лакею с длинными жидкими бакенбардами он сказал ласково:

⁸ тяжеловесные остроты (от нем.: Witz).

– Не трудитесь, голубчик. – И прошел через всю залу. Прислуге во фраках он везде говорил «вы».

Он наметил у стола биржевиков молодого bruneta с лицом, какие попадаются в магазинах белья и женских мод, в узких бакенбардах, с прической «капуччиком», в темно-красном шарфе, перехваченном матовым золотым кольцом. Пиджак из английского шевиота сидел на нем гладко и выказывал его округленные, падающие, как у женщины, плечи.

– Карл Христьяныч! – окликнул его Палтусов. Ему и нужно было этого самого маклера. Биржевик привстал и направил на него простоватые масляные глаза.

– Почтение! – сказал он с умышленной интонацией русского немца-шутника, подражающего «купецкому» жанру.

И руку подал нарочно ребром, а не ладонью. Палтусов ответил ему в тон:

– Изволили откушать?

– Как же! Побаловались. Пора и пошабашить.

– Можно на пару слов?

– С нашим удовольствием.

И, обратившись к остальным, маклер сказал им по-немецки:

– Kinder! Auf Wiedersehen! Präzise⁹.

Те почему-то загоготали.

«Карлуша» – так его звали приятели – отряхнулся, дал лакею на чай, поправил галстук и взял Палтусова под руку. Они пошли не спеша в угловую комнату, где никого уже не было.

Разговор длился не больше десяти минут. Маклер стоял, а Палтусов присел на конец дивана.

Слышны были слова: «пай», «новый корпус», «сам Сергей Степанович», «пустить в ход», «куртаж». Немчик только кивал головой да играл цепочкой и раза два сказал:

– Без сумленья. В настоящем виде.

Он уже иначе не умел говорить с русскими, как таким языком.

– Стало, живет? – спросил Палтусов, поднимаясь и пожимая ему руку.

– Будьте благонадежны...

Маклер заторопился.

– Вы уж, голубчик, извините, пожалуйста, после биржи... А теперь надо...

Из губ его слетело несколько имен. Из залы можно было расслышать:

– К Ценкеру, на Маросейку, у Кнопа, Корзинкины... Да еще к Катугару!..

Вышло новое рукопожатие.

– Как курса? – спросил на ходу Палтусов.

– Курса?

Маклер остановился, щелкнул языком и выговорил:

– Швах!

И почти бегом пустился по ресторану.

Глядя вслед убежавшему немчику, Палтусов вспомнил сегодняшние веселые речи банковского директора. Вот хоть бы этот Карлуша! Какая ему цена? А он, наверно, зарабатывает тысяч двенадцать, а то, гляди, и все шестнадцать. Не весело целое утро разъезжать по конторам, а потом бегать по биржевому залу. Да ведь у него в голове зато ни одной своей мысли. Он дальше десятичных дробей вряд ли ходил. Днем колесит по Москве и юлит на бирже; после биржи – обед, а ночью пляшет – невест себе выплясывает – до петухов; сегодня в Большой Алексеевской, завтра на Разгуляе, в Плетешках, послезавтра на Татарской... И выпляшет – возьмет полмиллиона и банковый учредитель будет. Зато он немец! А Евграф Петрович уверяет, что «немцы между собой везде снюхаются».

⁹ Дети! До свиданья! Точно (нем.).

Он улыбнулся. Ему в сущности нечего было завидовать этому Карлуше. Такой «капульчик» должен успевать при стачке своего брата немца. Чего-нибудь позамысловатее выгодной женитьбы и маклерского дохода он не выдумает. Не те у него мозги...

У буфета Палтусова кто-то удержал двумя руками. Он поднял голову и рассмеялся. С непритворным удовольствием обнял он сам высокого, немного пухлого, совсем бритого мужчину, одних с ним лет, в короткой синей визитке и серых панталонах. За границей его всякий принял бы за молодого французского нотариуса или за английского духовного, снявшего с себя долгополый сюртук. Мягкие русые волосы с пробором на боку, подстриженные сзади и гладко причесанные спереди, необыкновенно подходили к крупному носу, золотым очкам, добрым и умным глазам этого москвича, к его заостряющемуся брюшку, тонкой усмешке и белым рукамогурчикам. Держался он прямо, даже немного выпрямившись, и не наклонял голову, а подавался вперед всем туловищем.

– Палтусов!

– Пирожков!

Они громко чмокнули себя в щеки.

– Где пропадаете? – спросил Палтусов, все еще придерживая приятеля.

– А вы? Я был в деревне с мая вот по сие время.

– Это и видно.

Палтусов указал глазами на брюшко Пирожкова.

– Да, есть-таки развитие сальника. Вот все хожу.

– Вы здесь завтракаете?

– Покончил. Не выпить ли элю?

– Я тороплюсь. Ах, какая досада!

Палтусов опять нелицемерно наморщил лоб. Ему очень хотелось покалякать с этим «славным малым», которого он считал «умницей» и даже «ученым». Но дело не ждало. Он это и объяснил Пирожкову.

Приятель не возмутился; без всяких переливов голоса – как говорят все почти молодые русские – спросил он у Палтусова, где тот живет и что вообще делает.

– Пускаюсь в выучку к Титам Титычам, – сказал Палтусов нотой, в которой сквозила совесть.

– Вот что! – протянул его приятель. – Что ж! штука весьма интересная. Мы не знаем этого мира. Теперь новые нравы. Прежние Титы Титычи пахнут уже дореформенной полосой.

– Да я не литератор, Иван Алексеевич, я – для разживы. Что ж так-то болтаться?

Глаза Пирожкова повеселели.

– Вы своего рода Станлей! Я всегда это говорил. Сметка у вас есть, мышцы, нервы... И Балканы переходили.

Они оба тихо рассмеялись. Палтусов выхватил часы из кармана.

– Батюшки! двадцать третьего! Голубчик Иван Алексеич, заверните... Оставьте карточку... Пообедаем. Ведь вы покушать любите по-прежнему?

– Есть тот грех!

– В «Эрмитаже»? Стерлядку по-американски, знаете, с томатами.

По лицу Пирожкова пошла волнистая линия человека, знающего толк в еде.

– Так на Дмитровке?

– Да, да!.. – торопился Палтусов.

Они выходили вместе. В передней Палтусов, надев пальто, опять взял Пирожкова за борт визитки. Ему вспомнилась их жизнь года три перед тем, в меблированных комнатах у чудака учителя, которому никто не платил.

– Фиваида-то наша рушилась! – возбужденно сказал он Пирожкову. – Славно жили! Что за типы были! И Василий Алексеич с своей керосиновой кухней... Где он? Пишет ли что? Вряд ли!

– Умер, – отвечал Пирожков, и улыбка застыла у него на губах.

Они смолкли.

– Буду ждать! – крикнул Палтусов из сеней. – Захаживаете ли когда к Долгушиным?

– По приезде еще не был.

– Гниют на корню. Дворянское вырождение!.. – Фраза Палтусова прогудела в сенях.

ХП

Малый в голубой рубашке натянул на Пирожкова короткое, уже послужившее пальто и подал трость и шляпу. Иван Алексеич и зиму и лето ходил в высокой цилиндрической шляпе, которую покупал всегда к Пасхе. Он пошел не спеша.

Встреча с Палтусовым и его отнесла к той зиме, когда они жили в комнатах у учителя арифметики Скородумова, в переулке на Сретенке, около церкви «Успенья в Печатниках». Тогда Иван Алексеич серьезно подумывал о магистерском экзамене. Прошло три года, а он все еще не магистр. Правда, он ездил за границу, но вряд ли с специальной целью. Он изучал много хороших вещей разом: и движение философских идей, и уличную жизнь, и рестораны, и женщин, и театры, и журнализм... Читал он немало книжек, хаживал и в кабинеты, по своей науке принимался за собиранье специальных мемуаров и даже заплатил три золотых за право иметь свой стол с микроскопом. Но как-то работы не вышло. В Москве время текло опять почти что так, как оно текло, когда Иван Алексеич кончил курс кандидатом и отдыхал, живя в Лоскутном. И это славная полоса была. Много пили портеру и элю. Целые вечера проводили в бильярдной; зато журналы и книжки читали запоем, точно варенье глотали ложками. Иной раз, не вставая, в постели пролеживали до сумерек с каким-нибудь английским томом по психологии или этнографии. А там вечер – в театре молодых актрис поддерживали, в клубе любителей поощряли, развивали их, покупали им Шекспира, переводили им отрывки из немецких критиков, кто не знал языка. Споры, беседы... На Сретенке, у Скородумова, начался непрерывный содом. Сколько прошло отличных ребят или забавных, нелепых; но с ними весело жилось. И какие женщины попадались! Пойдут всей гурьбой в концерт, в оперу, наслушаются музыки, и до пяти часов утра «пивное царство», поют хором каватины, спорят, иные ругают «итальянщину», дым коромыслом, летят имена: Чайковский, Рубинштейн, Балакирев, Серов! На другой день голова трещит. Идет в ход зельтерская вода. Покойник Василий Алексеич – опять полоса... Натура этого скитальца, его причуды, лень, ум, даровитость; не виданное Пирожковым обаяние на женщин, вся жизнь, сотканная из нежных сношений с ними. И на это целый год пошел. «Номера» рухнули. Да и пора было. Несколько месяцев в деревне отрезвили. Тут уж план работы выяснился: досуга вволю. Хозяйство ведет брат, кушать можно всласть; но и моциону много. Ходи себе по липовой аллее и поглощай книжки. Осень стояла небывалая. И теперь жаль, что поторопился в город; да как-то нельзя...

Пирожков стал в раздумье под навесом подъезда – куда идти? Идти можно – куда захочешь. Но никуда не нужно идти Ивану Алексеичу. Нет у него ни казенной службы, ни конторы, ни работы в университетском кабинете. Еще не начинал ее. Да и не все там съехались, профессор в заграничном отпуску, ассистент болен. Зайти разве по старой памяти в аудиторию? Не хочется; что за охота припоминать зады? Слышно, какой-то доцент у юристов собирает аудиторию человек в двести, говорит ново, смело, готовится к лекциям. Недурно бы; да, кажется, лекции-то его поутру, с десяти часов. Почитать разве газеты в кондитерской? Так лучше подняться в читальню того же «Славянского базара». Там десятка два газет. Тяжеленько! С некоторых пор Иван Алексеич чувствует иногда легкую одышку, ему неприятны всякие спуски и

подъемы. И печень начала немного пошаливать. Нет-нет да и колотье. Он пил горькую воду в деревне.

«Куда же идти?» – еще раз спросил себя Пирожков и замедлил шаг мимо цветного, всегда привлекательного дома синодальной типографии. Ему решительно не приходило на память ни одного приятельского лица. Зайти в окружный суд? На уголовное заседание? Слушать, как обвиняется в краже со взломом крестьянин Никифор Варсонофьев и как его будет защищать «помощник» из евреев с надрывающей душу картавостью? До этого он еще не дошел в Москве...

Москва!.. Он имел к ней слабость, да и теперь любит ее по-своему, как «этнографический центр». Изучать ее было бы занимательно. Разбить на области: фабрики, рабочий люд, нравы и обычаи вот этого самого «города», раскол, проституция. Хорошо! Но ежедневных ресурсов просто для развитого человека, как он, с европейскими привычками, с желанием после завтрака поговорить о живом вопросе, найти сейчас же под боком кружок людей... Этого нет. Прежде у него был Лоскутный, были номера на Сретенке... Должно быть, молодость проходит; старые приятели разбрелись и слиняли, новых что-то не выросло. Вот Палтусов еще из самых бойких, но его тянет к наживе – это ясно...

Иван Алексеич повел носом. Пахло фруктами, спелыми яблоками и грушами – характерный осенний запах Москвы в ясные сухие дни. Он остановился перед разносчиком, присевшим на корточках у тротуарной тумбы, и купил пару груш. Ему очень хотелось пить от густого, пряного соуса к дикой козе, съеденной в ресторане. Груши оказались жестковаты, но вкусны. Иван Алексеич не стеснялся есть их на улице.

Он любил свободу, какую все пользуются на парижских бульварах, но оставался джентльменом, никогда не позволял себе никакой резкой выходки: это лежало в его натуре.

Фруктовые запахи, вкус груш, не утоливших вполне его жажды, привели его к мысли о квасной лавке. Ведь это в двух шагах. Ход с Никольской. Он перешел улицу.

ХIII

Проникают к квасной лавке – одна только и пользуется известностью – через Сундучный ряд, под вывеску, которая доживет, наверное, до дня разрушения гостиного двора с его норами, провалившимися плитами и половицами, сыростью, духотой и вонью. Но многие пожалеют летом о прохладе Сундучного ряда, где недалеко от входа усталый путник, измученный толкотней суровских лавок и сорочьей болтовней зазывающих мальчишек и молодцов Ножовой линии, находил квасное и съедобное приволье...

Иван Алексеич студентом и еще не так давно, в «эпоху» Лоскутного, частенько захаживал сюда с компанией. Он не бывал тут больше двух лет. Но ничто, кажется, не изменилось. Даже красный полинялый сундук, обитый жестью, стоял все на том же месте. И другой, поменьше, – в лавке рядом, с боками в букетах из роз и цветных завитушек. И так же неудобно идти по покатоному полу, все так же натыкаешься на ящики, рогожи, доски.

За несколько шагов до квасной лавки обдаст вас сырой свежестью погреба, и ягодные газы начинают вас щекотать в ноздрях. Доносятся испарения съестного. Три разносчика – бесшумно промышляющие на этом месте – расположились у входа в лавку, направо и против нее. Они в постоянной суете. День выпал скоромный. У двоих имелись пирожки с ливером, с мясом и кашей, с яйцами и капустой, с яблоками и вареньем. Третий предлагал ветчину в большом розовом куске с нежным жиром и жареные мозги. Подальше стоял рыбник для любителей постной еды и в скоромный день. Разносчики с фруктами часто проходили мимо, выкрикивая товар, и заглядывали в квасную лавку.

Каждый раз, когда, бывало, Иван Алексеич приходил сюда в приятельском обществе и спрашивал: «С чем пирожки?», он особенно улыбался от созвучья с собственной фамилией.

Не мог он воздержаться от точно такой же улыбки и теперь. Перед ним распахивал довольно еще чистую верхнюю холстину жилистый белокурый разносчик, откинувший от тяжести все свое туловище назад.

– Прикажете парочку?

Пирожков сделал знак рукой, говоривший: «Повремени малость».

В просторной лавке без окон, темной, голой, пыльной, с грязью по стенам, по крашеным столам и скамейкам, по прилавкам и деревянной лестнице – вниз в погреб – с большой иконой посредине стены, – все покрыто липким слоем сладких остатков расплесканного и размазанного квасу. Было там человек больше десяти потребителей. Молодцы в черных и синих сибирках, пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плесенью, – одни сбегали в подвал и приносили квас, другие – постарше – наливали его в стаканчики-кружки, внизу пузатенькие и с вывернутыми краями. Такие стаканчики сохранились только в квасных, у сбитенщиков, да по селам, в харчевнях и шинках.

Свободное место нашлось для Пирожкова у входа направо. Он заказал себе грушевого квасу. Публика всегда занимала его в этой квасной лавке. Непременно, кроме гостинодворцев, заезжих купцов, мелкого приказного люда, двух-трех обтрепанных личностей в немецком платье, каких в Ножовой зовут «Петрушка Уксусов», очутится здесь барыня с покупками, из дворянок, соблюдающая светскость, но обедневшая или скупая. Она наедается вплотную, но не любит встречаться с знакомыми и, если можно, не узнает их.

Все смотрело и сегодня, как тому быть следовало.

Иван Алексеич оглядывал публику, попивая холодный, бьющий в нос, мутноватый квас. Вот и барыня. Она опорожнила три стакана квасу после полуфунтового ломтя ветчины и четырех пирожков и собирает покупки. Барыне лет под сорок. Она нарумянена. Это видно из-под вуалетки. Нос и лоб ее лоснятся от испарины. Губы сжаты так, как они сжимаются у обедневших помещиц, желающих во что бы то ни стало поддержать «положение в обществе». Пирожков узнал ее. Они встречались в одном доме, где ее терпеть не могли, но принимали запросто.

Барыня, должно быть, не разглядела Пирожкова. Она встала, прикрикнула на мальчишку, заставила его подать себе корзину и пошла к дверям. Он привстал и сказал ей:

– Bonjour, madame!¹⁰

Она вся выпрямилась, громко ответила ему: – Bonjour, monsieur¹¹, – и, отворотясь, вышла из лавки.

Разносчик с простывшими наполовину пирожками опять вырос перед ним. Иван Алексеич съел один с яблоками, повторил с вареньем. Это заново зажгло у него жажду. Он спросил вишневого квасу и выпил его две кружки. Желудок точно расперло какими-то распорками: поднимался оттуда род опьянения, приятного и острого, как от шампанского. Наискосок от него, за стеклянной дверью, другой разносчик наклонился над доскою, служившей ему столом, и крошил мозги на мелкие куски; посолив их потом, положил на лист оберточной бумаги и подал купцу вместе с деревянной палочкой – вместо вилки – и краюшкой румяной сайки.

Слюнки полились у Ивана Алексеича. Он позавтракал, ел сейчас сладкое, но аппетит поддался раздраженью. Гадость ведь в сущности это крошево на бумаге. А вкусно смотреть. За вишневым квасом пошли кусочки мозгов. За мозгами съедены были два куса арбуза, сахаристого, с мелкими, рыхло сидевшими зернами, который так и таял под небом все еще разгоряченного рта.

Выйдя на Никольскую, Иван Алексеич придавил себя пухлой ручкой по животу, под правым ребром.

«Что же это я?.. От безделья?!»

¹⁰ Здравствуйте, сударыня! (фр.).

¹¹ Здравствуйте, сударь! (фр.).

И ему стало стыдно.

XIV

Никольская была ему достаточно знакома. Студентом он покупал и продавал книги в лавке Ивана Кольчугина. Сюда же, в другую лавчонку, продал он перевод книжки по технологии еще на первом курсе. За лист заплатили ему по семи рублей. Тогда он перебивался; из дому получал не всегда аккуратно. Вот и лавка старого серебряника. За стеклом стоят позолоченные солонки русского образца, с крышкой и круглые – для подношения «хлеба-соли». Не лучше ли вот это изучать, чем засиживаться в квасной лавке? Тут народный вкус, рисунок, своеобразное изящество...

Но Ивану Алексеичу показалось, что солонку, которую он в эту минуту рассматривал, он уже торговал раз, года два тому назад. Ему помнилось, что она не серебряная, а медная, позолоченная. Вот он спросит.

– Солоночка-то, – обратился он к приказчику, – вот эта, около образа Николая Чудотворца, какая ей цена?

– Три с полтиной!

«Три с полтиной! – думал он. – Разумеется, не серебряная. С первого слова и такая цена!..»

– Да она из чего?

– Бронзовая-с... Через огонь золоченная.

Так и есть: он не ошибся. Вот и зеленоватое пятнышко на створчатой крышке от времени. И его он вспомнил.

– Штиблеты лаковые!.. Господин! Штиблеты! – окачивал его крикливым тенором «носящий», в резиновых калошах на босу ногу, с испитым лицом, подтеками на виске и в халате.

«Не купить ли?» – Иван Алексеич испытывал ощущение малодушного позыва к покупкам, так, по-детски, чего-нибудь... По телу внутри разлилась истома; всего приятнее было останавливаться почаще, перекинуться парой слов, поглядеть... А покупка все как будто дело...

– Цена? – спросил он кротко-смешливым тоном, хорошо известным его приятелям.

– Шесть рублей, господин!

– Будто? – продолжал Иван Алексеич в том же тоне.

Ему припомнилась сцена из английского романа в русском переводе, где юмор состоит в том, что спрашивали: «Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?» И опять: «Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?» В Лоскутном они целую неделю «ржали», отыскав этот отрывок, и беспрестанно повторяли друг другу: «Что вы желаете за эту чрезвычайно маленькую вещь, сэръ?»

– Шесть рублей – никогда!.. – дурачился Иван Алексеич.

– Для почину – четыре!.. Нынче праздник, господин...

– Какой это?

– Опохмеленья! – И халатник показал зеленые зубы.

Не купить ли в самом деле? Он отдаст за три рубля. И тотчас перед Пирожковым всплыла, как живая, сцена: товарищ его, Чистяков, теперь адвокат, выдержал экзамен и на радостях купил у «носящего» такие вот «штиблеты». И в тот же день в Сокольниках одна из ботинок располыснулась от носка до щиколки, и он остался в носках. Тоже какой был хохот! И умные, искристые, полные комизма глаза покойника Шуйского виднеются ему со сцены, в пьесе, переделанной с французского, где он приходит в меховой шапке, купленной у «носящего» в городе. И как он художественно играл ощущение страха, когда явилось у него пятно на руке и он уверился, что заразился от шапки! Давно это – еще гимназистом видел.

– Не надо, голубчик, – сказал Пирожков уже серьезно халатнику.

«Носящий» начал приставать. Чтобы отделаться от него, Иван Алексеич перебежал улицу против лавки с тульскими изделиями. Медь самоваров, охотничьих рогов, кофейников, тазов слепила глаза. Ему показалось, что тут много новых вещей, каких прежде не делали. Он поднялся в лавку. Теперь его еще больше щемило неудержимое, совсем детское желание что-нибудь купить. С полки выглядывало несколько садовых шандалов с пыльными колпаками. Вечера еще стояли теплые. В номерах, где он живет, – балкон. Недурно оставаться подольше на балконе.

– Сколько стоит?

– Рубль семь гривен.

Поторговались. Шандал куплен за рубль пятнадцать копеек. Нести его очень неловко. Иван Алексеич опять перешел улицу, поравнялся с бумажными лавками в начале «глаголей» гостиного двора. Захотелось вдруг купить графленой бумаги и записную книжку. Это еще больше его затруднило; но он успокоился после этих новых покупок.

Вышел он на Красную площадь. День еще потеплел после полудня. Свет вместе с пылью так и гулял по длинному полотну мостовой – от Воскресенских ворот до Василия Блаженного. Направо давит красная кирпичная глыба Исторического музея, расплзшаяся и вширь и вглубь, с ее восточной крышей, башнями, минаретами, столбами, выступами, низменным ходом. На расстоянии – Пирожков нарочно отошел влево, ближе к памятнику – музей нравился ему теперь гораздо больше, чем не так давно. Он мирился с ним. Прежде он почти негодовал, находил, что эта «груда кирпича» испортила весь облик площади, заперла ее, отняла у Воскресенских ворот их стародавнюю жизнь.

Глаз достигал до дальнего края безоблачного темнеющего неба. Девять куполов Василия Блаженного с перевитыми, зубчатыми, точно булавы, главами пестрели и тешили глаз, словно гирлянда, намалеванная даровитым ребенком, разыгравшимся среди мрака и крови, дремучего холопства и изуверных ужасов Лобного места. «Горячечная греза зодчего», – перевел про себя Пирожков французскую фразу иноземца-судьи, недавно им вычитанную.

Птицы на головах Минина и Пожарского, протянутая в пространство рука, пожарный солдатик у решетки, осевшийся, немощный и плоский купол гостиного двора и вся Ножовая линия с ее фронтоном и фризом, облезлой штукатуркой и барельефами, темные пятнистые ящики Никольских и Спасских ворот, отпотелая стена с башнями и под нею загороженное место обвалившегося бульвара; а из-за зубцов стены – легкая ротонда сената, голубая церковь, точно перенесенная из Италии, и дальше – сказочные золотые луковицы соборов, – знакомые, сотни раз воспринятые образы стояли в своей вековой неподвижности... Площадь полна была дребезжанья дрожек и глухого грохота тяжелых возов. Пешеходы и дрожки тянулись вниз к Москве-реке и по двум путям в Кремль. Седоки и извозчики снимали шапки, не доезжая Спасских ворот. Из Никольских чаще спускались экипажи с господами.

«Мужик, артельщик, купец, купчиха, адвокат», – считал Пирожков и минут с десять предавался этой статистике. В десять минут не проехало ни одной кареты, не прошло ни одной женщины, которую он способен был назвать «дамой».

Его точно тянуло в Кремль. Он поднялся через Никольские ворота, заметил, что внутри их немного поправили штукатурку, взял вдоль арсенала, начал считать пушки и остановился перед медной доской за стеклом, где по-французски говорится, когда все эти пушки взяты у великой армии. Вдруг его кольнуло. Он даже покраснел. Неужели Москва так засосала и его? От дворца шло семейство, то самое, что завтракало в «Славянском базаре». Дети раскисли. Отец кричал, весь красный, обращаясь к жене:

– Мерзавцы! Канальи! Везде грабеж!

«И я – из их породы, – подумал Иван Алексеич, – и я направляюсь, должно быть, в Оружейную палату?»

Он участил шаги и махнул извозчику. К нему подлетело несколько пролетов от здания судебных мест.

Поскорее в университет, в кабинеты, хоть сторожа спросить, с ним поболтать, хоть нюхнуть пыльных шкапов с препаратами!.. А крест Ивана горел алмазом и брызгал золотые искры по небу...

– На Моховую! – крикнул Пирожков, снял шляпу и дохнул полной грудью.

XV

– Вадима Павловича можно видеть? – осведомился Палтусов у артельщика.

Передняя, в виде узкого коридора, замыкалась дверью в глубине, а справа другая дверь вела в контору. Все глядело необыкновенно чисто: и вешалка, и стол с зеркалом, и шкаф, разбитый на клетки, с медными бляшками под каждой клеткой.

– Сейчас доложу, – сказал сухо-вежливо артельщик и скрылся за дверью.

Это был первый деловой визит Палтусова по поручению Калакуцкого, довольно тонкого свойства. Подрядчик хотел испытать ловкость своего нового «агента» и послал его именно сюда. Палтусову было бы крайне неприятно потерпеть неудачу.

Его заставили прождать минуты три; но они показались ему долгими. Раза два выпрямлял он талью перед зеркалом и даже стал отряхивать соринку с рукава.

– Пожалуйте, – пригласил его малый.

Он прошел через комнату, похожую на контору нотариуса. Там сидело человек пять. Постороннего народа не было.

– Туда, в угол, – указал ему один из служащих.

Надо было зайти за решетку и взять влево мимо конторок. Оттуда вышел полный белокурый мужчина. Палтусов заметил его редкие волосы и типичное лицо купца-чиновника, какие воспитываются в коммерческой академии. Это был заведующий конторою, но не сам Вадим Павлович. Он возвращался с доклада. Палтусову он сделал небольшой поклон.

Палтусов ожидал вступить в большой, эффектно обставленный кабинет, а попал в тесную комнату в два узких окна, с изразцовой печкой в углу и письменным столом против двери. Налево – клеенчатый диван, у стола – венский гнутый стул, у печки – высокая конторка, за креслом письменного стола – полки с картонами; убранство кабинета для средней руки конториста.

Палтусов назвал себя и прибавил – от Сергея Степановича Калакуцкого.

Над столом привстал и наклонил голову человек лет сорока, полный, почти толстый. Его темные вьющиеся волосы, матовое широкое лицо, тонкий нос и красивая короткая борода шли к глазам его, черным, с длинными ресницами. Глаза эти постоянно смеялись, и в складках рта сидела усмешка. По тому, как он был одет и держал себя, он сошел бы за купца или фабриканта «из новых», но в выражении всей головы сказывалось что-то не купеческое.

Палтусов это тотчас же оценил. Да он и знал уже, что Вадим Павлович Осетров попал в дела из учителей гимназии, что он кандидат какого-то факультета и всем обязан себе, своему уму и предприимчивости. Разбогател он на речном промысле, где-то в низовьях Волги. Руки Палтусову он первый не протянул, но пожал, когда тот подал ему свою.

– Милости прошу, – и он указал ему на стул.

Вышла маленькая пауза. Глаза Осетрова произвели в Палтусове что-то вроде неловкости.

– Я – от Сергея Степановича, – повторил он и начал скоро, не тем тоном, какой он желал бы сам придать своим речам. Началом своего визита он не был доволен.

– Да-а? – откликнулся Осетров. Он говорил высоким, барским, масляным голосом, с маленькой шепелявостью: произносил букву «л» как «о». В этом слышался московский уронец.

– Сергей Степанович уже беседовал с вами по новому товариществу на вере, и он теперь хотел бы приступить к осуществлению.

«Глупо, книжно!» – выругал себя Палтусов.

– Как же, – точно про себя выговорил Осетров, пододвинув к гостю папиросы, и сказал с интонацией комического чтеца: - Угощайтесь.

Палтусов обрадовался папиросе. Она давала ему «отвлечение». Он одним мигом построил в голове несколько фраз гораздо точнее, кратче и деловитее.

– Ему бы хотелось знать, – продолжал он увереннее и совсем смело поглядел в смеющиеся глаза Осетрова, – может ли он рассчитывать и на вас, Вадим Павлович?

Осетров затынулся, откинул голову на спинку стула, пустил струю, и из насмешливого рта его вышел звук вроде:

– Фэ, фэ, фэ!..

«Не войдет», – решил Палтусов и почувствовал, что у него в спине испарина.

Ему, конечно, не детей крестить с Калакуцким! Одним крупным пайщиком больше или меньше – обойдется; у него хватит и кредиту и знакомства. Но обидно будет «по первому же абцугу» дать осечку и вернуться ни с чем. Надо чем-нибудь да смазать эту «шельму», – так определил Осетрова Палтусов.

– Да зачем я ему? – спросил Осетров ласково-пренебрежительно и так посмотрел на Палтусова, как бы хотел сказать ему: «Да вы разве не знаете вашего милейшего Сергея Степановича?»

Палтусов и это понял. Ему надо было сейчас же поставить себя на равную ногу с Осетровым, доложить ему, что они люди одного сорта, «из интеллигенции», и должны хорошо понимать друг друга. Этот делец из университетских смотрел докой – не чета Калакуцкому. Таким человеком следовало заручиться, хотя бы только как добрым знакомым.

XVI

– Позвольте, Вадим Павлович, – начал уже другим тоном Палтусов, – быть с вами по душе. Вы меня, может, считаете компаньоном Калакуцкого? Человеком... как бы это выразиться... *de son bord*?¹²

Он не без намерения вставил французское выражение, удачно выбранное.

Осетров сидел на кресле вполоборот и смотрел на него через плечо прищуренным левым глазом, а губы, скосившись, пускали тонкую струю дыма.

– Вы кто же? – спросил он мягко, но довольно бесцеремонно.

У Палтусова капнула на сердце капелька желчи.

– Я – такой же новичок, как и вы были, Вадим Павлович, когда начинали присматриваться к делам. Мы с вами учились сначала другому. Мне ваша карьера немного известна.

Лицо Осетрова обернулось всем фасом. Он отнял от рта папироску.

– Вы университетский?

– Я слушал лекции здесь, – ответил скромно Палтусов; он скрыл, что экзамена не держал, – после того как побывал в военной службе, в кавалерии.

– Из офицеров? – с ударением добавил Осетров и засмеялся.

– Да, из офицеров. Участвовал в последней кампании, – вскользь сказал Палтусов и продолжал: – Думаю теперь войти в промысловое дело. У Калакуцкого я занимаюсь его поручениями...

– Что получаете?

¹² его партии (*фр.*).

Этот допрос начинал коробить Палтусова, но он закусил губы и сдержал себя. Да это ему и не вредило, в сущности.

– Содержание до пяти тысяч. С процентами надеюсь заработать в этом году до десяти.

– Начало не плохое, – одобрительно вымолвил Осетров. – Ваш принципал – шустрый дворянин. Пока, – и он остановился на этом слове, – дела его идут недурно. Только он забирает очертя голову, хапает не в меру... Жалуются на его стройку... Я вам это говорю попросту. Да это и все знают.

Палтусов промолчал.

– Видите ли, – Осетров совсем обернулся и уперся грудью о стол, а рука его стала играть белым костяным ножом, – для Калакуцкого я человек совсем не подходящий. Да и минута-то такая, когда я сам создал паевое товарищество и вот жду на днях разрешения. Так мне из-за чего же идти? Мне и самому все деньги нужны. Вы имеете понятие о моем деле?

– Имею, хотя и не в подробностях.

– Привилегия взята на всю Европу и Америку. Париж и Бельгия в прошлом году сделали мне заказов на несколько сот тысяч. Не знаю, как пойдет дальше, а теперь нечего Бога гневить... Мои пайщики получили ни много ни мало – сто сорок процентов.

– Сто сорок? – воскликнул Палтусов.

– Да. Будет давать и двести, и больше. Когда расширится на всю Россию да немцев прихватим...

– Да ведь это вчетверо выгоднее всякой мануфактуры? – вырвалось у Палтусова.

– Еще бы!.. Шуйское дело в этом году тридцать пять дало, так об этом как звонят!..

– Вадим Павлович, – одушевился Палтусов, – вы, конечно, понимаете... Калакуцкому, – он уже не называл его «Сергеем Степановичем», – нужно ваше имя...

– Я в учредители не пойду... Я ему это сказал досконально.

– Ну просто пай, другой возьмете... для меня сделайте!..

– Для вас? – с недоумением переспросил Осетров.

– Ваш отказ поставит меня невыгодно. Он припишет это моему неумению. А ведь мы, Вадим Павлович, люди из одного мира. Между нами должна быть поддержка... стачка...

– Стачка?

– Да-с, стачка развития и честности. Вы поднялись одним трудом и талантом. Я вижу в вас самый достойный образец. Ваш пай, хоть один, даст каждому делу другой запах; это и для меня гарантия. Я ведь пайщик Калакуцкого.

«Экой ты какой, без мыльца влезешь!» – говорили глаза Осетрова.

– Что ж, – помолчав, сказал он, – я возьму пая три... не больше.

– Позвольте пожать вашу руку. Вы меня много обязали. Не посетуете, если я с вас попрошу взяточку?

– Какую?

– Только уговор лучше денег. Как немцы говорят: *nicht schlimm gemeint*¹³. У вас пая не все разобраны?

– Нет еще. Мы удвоили.

– Почем они?

– По тысяче рублей.

– Могу я просить у вас два пая?

– С удовольствием. Вот когда уладим. Понаведайтесь. Вы, значит, при капитале?

– Так, крохи...

– От рара и тапан?¹⁴

¹³ без злого умысла (*нем.*).

¹⁴ От папеньки и маменьки? (*фр.*).

– Именно!.. Ха-ха!

Произошло рукопожатие. Осетров привстал, но до дверей не провожал его. В передней Палтусов дал двугривенный служителю и, когда спустился с лестницы, почувствовал, что у него лоб влажен.

«Не моему принципалу чета, – повторял он на дрожках по дороге на Ильинку. – Этот – Руэр, и лицо-то такое же, точно с юга Франции. Он Калакуцких-то дюжину съест. Надо его держаться...»

Оба поручения исполнены, и за второе он особенно был доволен. Дворянский гонор немного шемило, но все обошлось с достоинством.

XVII

Пробило три часа. В рядах старого гостиного двора притихло. И с утра в них мало движения. Под низменными сводами приютились «амбары» – склады самых первых мануфактурных и торговых фирм, всего больше от хлопчатобумажного и прядильного дела. Эти лавки смотрят невзрачно, за исключением нескольких, отделанных уже по-новому – с дорогими стеклами в дубовых и ореховых дверях с фигурными чугунными досками. Вдоль стен стоят соломенные диваны и козлы, на каких купцы любят играть в «дамки» и «поддавки». Кое-где сидят сухие пожилые приказчики в длинных ваточных чуйках или просторных пальто с бобром и однозвучно перекидываются словами. Выползет с внутреннего двора, из-под сводчатых ворот огромный воз с товаром. Лошадь станет, вся вытянется, напрягутся жилы. Непомерная тяжесть тащит ее назад, да тут еще подвернулся камень, вывороченный из отсыревшей мостовой, покрытой грязью, с ямами, целыми ручьями в дождь, с обвалами и промоинами. Ломовой с бессмысленною злостью хлещет лошадь вожжами по глазам, под брюхо, потом ухватит что попало – полено, доску – и колошматит свою собственную животину. Мальчишка из трактира с чайником топчется и кричит также на лошадь. Сидельцы ухмыляются или бранят извозчика.

– Родимая! – гаркнет всеми внутренностями ломовой и, ухватив за супонь, выбежит на улицу вместе с возом, после чего начинает костить своего бурого: – Жид, анафема, стерва!..

Потом опять все тихо. Со двора доносятся голоса, когда идет отправка или прием товара. Там целые горы тюков и ящиков захватили арки и выползли со всех сторон на середину двора. Вороха рогож, циновок, плетушек, кулей лежат тут неделями и месяцами, мокнут, преют, жарятся на солнце. Одной хорошей искры довольно, чтобы все это вспыхнуло и превратило двор в огненную печь. Но хозяева не боятся. Им тут хорошо и покойно. Бог даст, и простоит все по-дедовски, пока будет стоять старый гостиный двор. «Амбары» у них – наследственные; они их покупали на кровные деньги. Наемная цена им высокая: за один створ до четырех тысяч в год берут.

Тяжелый, неуклюжий, покачнувшийся корпус глядит на две улицы. Посредине он сел книзу; к улицам идут подъемы. Из рядов к мостовой опускаются каменные ступени или деревянные мостки с набитыми брусьями, крутые, скользкие, в слякоть грозящие каждому – и трезвому – прохожему. Внизу, в подпольном этаже, разместились подвалы и лавки – больше к Ильинке, где съезжать в переулок и подниматься нестерпимо тяжело для лошадей, а двум возам нельзя почти разехать с товаром. А тут еще расположилась посудная лавка с своей соломой, ящиками и корзинками. Насупротив железный и москательный товар валяется в пыли и темноте. Весь этот угол дает свежему человеку чувство рядской тесноты и скученности, чего-то татарского по своему неудобству, неряшеству, погоне за грошовой выгодой.

По Варварке, против церкви и поближе, дожидалось двое широких хозяйских пролетов с заводскими жеребцами. Один кучер курил; другой – нет. Он служил у беспоповского раскольника. По этой стороне линия смотрела повеселее. Лавки шли всякие, рядом с амбарами первых тузов много и «не пущих».

На двух створах с дубовыми дверями медные доски, старательно отчищенные, ярко выставляли рельефные слова: «Мирона Станицына сыновья». Снаружи через стекла дверей просвечивали белые стены, чугунная лестница во второй этаж, широкое окно в глубине, правее – перила и конторки. Никакого товара не было видно ни на полу, ни по стенам. У дверей стоял, держась за ручку, молодец в синей чуйке. Его обязанность в этом только и заключалась. Амбар был из самых поместительных и шел под крышу. В верхнем этаже – также с галереей – находились склады товара, материй и сукон. Материи производила фирма «Станицына сыновья». Сукно шло с фабрики жены представителя фирмы, старшего брата. Младший находился в слабоумии.

Конторщики в первом отделении амбара беззвучно писали и изредка щелкали по счетам. Их было трое. Старший – в немецком платье, в черепаховых очках, с клинообразной бородой, в которой пробивалась уже седина, скорее оптик или часовщик по виду, чем приказчик, – нет-нет да и посмотрит поверх очков на дверь в хозяйскую половину амбара.

На перилах лежало два пальто посторонних лиц; одно военное; через дверь долетали раскаты разговора. Слышались жидкие звуки мужского голоса, картавого и надтреснутого, и более молодой горловой баритон с офицерскими переливами. Между ними врезывался смех, должно быть, плюгавенького человечка, – какой-то нищенский, вздутый, как пузырь, ничего не говорящий смех...

XVIII

Вдруг малый пришел в волнение, схватился за ручку, широко распахнул половинку, нагнул голову ниже плеч и тряхнул потом головой.

В амбар вошла «сама». Этого никто не ожидал, кроме, быть может, старшего конторщика. Он быстро встал, выбежал из-за перегородки, сложивши руки на груди, с переплетенными пальцами, поклонился два раза и полусшепотом выговорил:

– Матушка, все ли в добром здоровье?

Она поклонилась ему ласково и степенно, как кланяются купчихи первых домов, одной головой, без наклона стана. Этой женщине, сквозь прозрачную вуалетку, точно посыпанную золотым песком, вряд ли бы кто дал больше двадцати трех лет. Ей было уже двадцать семь. Рослая, с прекрасным бюстом, не жирной, но не худой шеей и тонкой умной головой, она смотрела настоящей дамой. Ее охватывало короткое пальто из черного фая. Оно позволяло любоваться линией ее талии и переходило в кружевную оборку. Широкие, модного покроя рукава, также отделанные кружевами и бахромой из гофрированных шелковых кусочков, выпускали наружу только ее пальцы в светло-серых перчатках. Вокруг шеи шел кружевной высокий барок. Из-под пальто выходило узкое, песочного цвета, тяжелое платье: спереди настолько высокое, что вся нога, в башмаках с пряжками и цветных шелковых чулках, была видна. На ее лоб и глаза, глубоко сидевшие в впадинах, легла тень от полей широкой «рубенсовской» шляпы с густым темно-гранатовым пером.

В этой «хозяйке» по костюму было много европейски живописного. Но овал лица, сановитость его, что-то неуловимое в движениях говорило о коренной Руси, о той почве, где она выросла и распустилась. Красавицей вряд ли бы ее назвали, но всякий бы остановился.

– Кто здесь? – тихо спросила она старшего конторщика и сделала шаг назад. Лоб ее наморщился.

– Тот-с... офицер-с, Саввы Иваныча сынок... с крестом... Извольте знать?

Она только опустила глаза и сжала губы. Все лицо ее точно наполнилось презрительным чувством.

– А еще?

– Еще... господин Ифкин. Так, кажется, их прозвание? Они всегда-с...

Станицына не дала ему договорить и сказала:

– Доложите.

– Да пожалуйста, матушка.

– Доложите, – повторила она.

Старик осторожно приотворил дверь. Разговор смолк. Он вошел и вернулся тотчас же. А за ним выбежал ражий офицер с красным, лоснящимся лицом, завитой, с какими-то рожками на лбу, еще мальчик по летам, но уже ожирелый, в уланке с красным кантом и золотой петлицей на воротнике. Уланка была сшита нарочно непомерно коротко и узко, так что формы корнета выставлялись напоказ при каждом повороте. В петлице торчал солдатский Георгиевский крест на широкой ленте и как будто больших размеров, чем делают обыкновенно.

– Entrez, entrez...¹⁵ Анна Серафимовна! Как же вы это с докладом?!. Ваш муж приказал вам сказать, что у нас женского пола нет. Ха, ха! Мы здесь как монахи! Даже стаканы у нас с чаем!

Он и смеялся, и нахально оглядывал ее, и как-то переминался с ноги на ногу, позвякивая шпорами и расставляя ноги по-кавалерийски.

Улан приходился дальним родственником ее мужу. Он в кампанию пошел вольноопределяющимся в гвардию, взял пушку; но в тот полк, куда поступил, все-таки не попал офицером. Теперь он и спал и видел, как бы ему прикомандироваться, приехал в четырехмесячный отпуск, пьянствовал и спускал отцовские деньги в «макао» а «баккару». Родители его прозывались Сыромятниковыми. Это его немного стесняло; зато у него был французский язык. И вряд ли во всей, даже гвардейской, кавалерии кто так умел носить рейтузы и длинный до носу козырек, как он. Да и никто, когда они стояли под Константинополем, не слал таких лаконических французских телеграмм:

«Papa, perdu dix mille francs. Envoyez traite. Si non – adieu. Ferai un mauvais coup! Théodule»

¹⁶.

Его действительно звали по-русски Федул, но он переименовал себя потом в Теофиля.

Из двери показался штатский, худой, короткий, с редкими волосиками на лбу, в усах, смазанных к концам, черноватый, в коротком сюртучке и пестром галстуке, один из захудалых дворянчиков, состоявших бессменно при муже Станицыной. За ним, кроме хорошего обращения и того, что он знал дни именин и рождения всех барынь на Поварской и Пречистенке, уже ничего не значилось.

– Madame! – вскрикнул он и закатился смехом.– Veuillez entrer!..¹⁷ Вы нас хотели накрыть?! N'est ce pas, Théodule?!..¹⁸

И оба они ввели ее в хозяйское помещение амбара.

XIX

Лицом к двери, у большого стола с двумя низкими пюпитрами красного дерева, – диваны и стулья с сафьянной обивкой были такие же, – вытянул ноги на середину комнаты, сидя на краю стола, муж Анны Серафимовны Станицыной, Виктор Миронович. Он казался головой выше улана. Народ называет такое сложение «глистой». Узость плеч, приподнятых и острых, вытянутая шея с кадыком, непомерная длина рук и ног делали его неприятным на взгляд по одной уже фигуре. Голова подходила к остальному складу: лоб, сдавленный с боков и сверху

¹⁵ Войдите, войдите... (фр.).

¹⁶ «Папа, проиграл десять тысяч франков. Высылайте переводный вексель. Если нет – прощайте. Совершу недоброе дело! Федул» (фр.).

¹⁷ Благоволите войти! (фр.).

¹⁸ Не правда ли, Федул?! (фр.).

сжатый, заостренная макушка и выдающийся затылок достаточно говорили о его мозговом устройстве. Желто-русые волосы вились на висках и на лбу. В лице сохранилась молодость – и женоподобная и мальчишеская, что-то изношенное и незрелое, развратное и бесполое. Он страдал глазами. Красные веки окружали его желтоватые длинные глаза, всегда с одним и тем же выражением подзадоривания и зубоскальства. Ресницы по цвету были почти светло-рыжие. Под маленьким, раздутым книзу носом открывался постоянно улыбающийся рот с белыми, но редкими зубами, как у детей. Пепельные волоски чуть пробивались на подбородке, ушедшем тоже в клин, с ямкой посередине, хотя он и не был добр. Купеческое происхождение сидело во всем его облике; но голос, манера тянуть слова нараспев, развинченность приемов, словечки на русском и французском языках и туалет делали из Виктора Мироновича нечто весьма мало отзывающееся старым гостиним двором. Шили на него исключительно два парижских бульварных портных: Дюсотуа и Блан. Галстуки, белье, золотые мелкие вещи он носил не иначе как лондонские, «точно такие», как принц Галльский, от тех же самых поставщиков.

В это утро его худосочное туловище просторно драпировал пиджак. Низкие стоячие воротнички, торчащие на середине шеи, уходили в галстук цвета «vert merveilleux»¹⁹. Приятели не скрывали того, что Станицын красит шею особой краской, чтобы она выходила шоколадною. Этому он также научился за границей. Ноги его, в панталонах прусского покроя, на плоской и длинной ступне, не особенно скрашивали ботинки с коричневым сукном. Руками своими он любовался, но с ногтями до сих пор не мог сладить – придать им красивую овальную форму и нежный цвет, хотя и «лечился» у всех известных «маникуров».

Виктор Мироныч был на семь месяцев моложе жены.

– Bonjour, madame, – сказал он ей и по-английски протянул ей руку.

Она пожала, вуалетки не подняла и села на диван у левой стены.

Улан и штатский стояли перед ней и все хохотали.

– Я вам не помешала? – спросила она густым, немного глухим голосом.

В ее произношении слышалось волжское «о», но не очень сильно. Это придавало большую оригинальность ее говору.

– Чаю не угодно? С лимончиком? – пошутил Станицын своей фистулой, от которой у жены его давн ходят мурашки по телу, точно от грифеля.

– Собираетесь? – спросила она больше мужа, чей его приятелей.

– Представьте! – закричал улан. – Виктор нынче ушел в дела!.. Мы приезжаем вот с Фифкой!..

Анна Серафимовна удивленно вскинула на него ресницами. Ее широкие бархатные брови слегка поднялись.

– Ха-ха!.. Виктор! Ma femme ne sait pas!..²⁰ Вы не знаете, мы так Ифкина прозвали... Фифка! Ведь хорошо? А?! Что скажете?

Штатский осклабился.

– Так вот-с, приезжаем, зовем Виктора к Генералову, привезли устриц... Ostendes...²¹ И вдруг упирается! Говорит, нельзя, дела, не управился. В амбаре надо сидеть. Амбар! C'est cocasse!²²

Улан перекинулся назад всем своим пухлым туловищем. В ушах Анны Серафимовны звенел долго хохот обоих приятелей мужа. Она вбок посмотрела на него. Он все еще не менял позы, сидел на ребре стола и носком правой ноги ударял о левую. Один раз его глаза встретились с ее взглядом. Ей показалось, что она прочла в них: «Зачем пожаловали?»

¹⁹ пронзительно-зеленый (фр.).

²⁰ Твоя жена не знает!.. (фр.).

²¹ Остендских... (фр.).

²² Это забавно! (фр.).

Она знала, что ей всегда можно заставить его опустить свои рыжие ресницы, но она этого не сделала.

– Tu restes décidément? ²³ – французил улан.

– J'y suis, j'y reste! ²⁴ – сострил Станицын. Он не знал в точности, чья это историческая фраза, но помнил, что в Café de Madrid часто повторяли ее.

Произношение у него было изломанное, отзывалось близким знакомством с актрисами «Folies Dramatiques» и «Théâtre des Nouveautés». Оснований положили гувернеры.

– Ну, Фифка!.. Détalons!.. Chère cousine... ²⁵ Что это вы какие строгие? Точно посечь нас собираетесь. Вы видите: оставляем вас en tête-à-tête... ²⁶ Это всегда хорошо. Как бы сказать... добродетельно. Виктор! Мы тебя, голубчик, подождем до пятого... Идет? Вы позволите? – обратился он к Анне Серафимовне. – Муженька-то в строгости держите. Не женись, Фифка!.. Правда, за тебя, урод, никто и не пойдет...

Улан схватил штатского под мышки и одним взмахом поднял его на воздух. Тот взвизгнул. Станицын лениво и немного беспокойно оглянулся, кисло повел губами и сказал:

– Ступайте, у меня голова кружится. Des gaillards comme ça ²⁷. Точно вас с цепи спустили.

– Madame! – дурачливо раскланялся улан и щелкнул шпорами.

– Bien bonjour, Анна Серафимовна, – прибавил от себя и дворянин; он по-французски употреблял московские обороты, вроде этого или bien merci ²⁸.

Анна Серафимовна привстала и пожала им руки без улыбки и молча.

Станицын проводил их за дверь. В конторе они еще довольно долго болтали. По лицу молодой женщины пробежали струйки нервных вздрагиваний. Она сняла вуалетку, а потом и шляпу. Ее голове жарко стало. Почти черные волосы, гладкие, густые, причесаны были по-старинному, двумя плоскими прядями, и только сбоку, на лбу, она позволяла себе несколько завитков: они смягчали строгость очертаний ее лба и линию переносицы. Глаза ее, темно-серые, с синеватыми белками и загнутыми ресницами кверху, беспрестанно то потухали, то вспыхивали. Брови, как две пышных соболевых кисти, не срастались, но близко сходились при каждом движении лба. Тогда все лицо делалось сурово, почти жестко. Свежий рот и немного выдающиеся зубы, а главное, подбородок, круглый и широкий, проявляли натуру жены Виктора Мироновича и породу ее родителей, людей стойких, рослых, именитых, долго державшихся старых обычаев и состоявших еще недавно в беспоповцах.

XX

Анна Серафимовна хотела даже снять пальто, но в эту минуту вошел ее муж.

– Здравствуйте-с, – протянул он.

Она давно уже была с ним на «вы», «Виктор Миронович». Он часто говорил ей «ты» и «Анна», а «вы» употреблял в особых случаях.

Виктор Миронович прошел к столу и сел за свои пюпитр, отхлебнул из стакана чаю и обернулся к ней.

– Hein? – пустил он парижский звук.

Ему он выучился в совершенстве.

²³ Ты решительно остаешься? (фр.).

²⁴ Здесь я нахожусь, здесь я останусь! (фр.).

²⁵ Удираем!.. Дорогая кузина... (фр.).

²⁶ наедине (фр.).

²⁷ Весельчаки этакие (фр.).

²⁸ Очень здравствуйте... Очень благодарю – словосочетания, невозможные во французском языке.

Рот жены его раскрылся, но зубы были сжаты, зрачки глаз сузились. Она вытянула немного руки и вся выпрямилась на своем месте.

– Виктор Мироныч, – начала она, и волжское произношение слышалось сильнее, – всему бывает предел.

– Nein? – повторил он, но уже не тем звуком. Глаза его вызывающе и глупо поглядели на жену.

Он чего-то ждал неприятного, но чего – еще не догадывался.

Рука ее опустилась в карман пальто и достала оттуда небольшой портфель из черной кожи, с серебряным вензелем. Она нагнула голову, достала из портфеля две сложенных бумажки и развернула их, а портфель положила на диван.

Тут она встала и подошла к нему. Он почувствовал на лице ее горячее дыхание.

– Что это? – подзадоривающим звуком спросил он и сделал ненавистную ей гримасу губами, точно он принимает лекарство.

– Ваши векселя, – выговорила она и побледнела. До тех пор щеки ее хранили румянец, редко появлявшийся на них.

– Мои?

Он встал и нагнулся.

Его голова, клином вверх, с запахом помады и фиксажуара, прилась к ее носу и глазам. Что-то непреодолимо противное было для нее всегда в этой детской, «несуразной» – она так называла – голове с ее вьющимися желтыми волосами и чувственным, вытянутым затылком.

– Ваши, – еще раз сказала она и отвела его от себя рукой. – Виктор Мироныч, вы видите, кем андосованы?

Она знала деловые слова.

– Кем? – нахально спросил он ее, подняв голову, и засмеялся.

Вся кровь мигом бросилась ей в голову. Она схватила его за руку, силой посадила в кресло, оглянулась и, нагнувшись к нему, стала говорить отдельно, точно диктовала ему по тетрадке.

– Вот до чего вы дошли. Я купила эти документы. Вы знаете, кому вы их выдали. Подпись видна. Из Парижа они пришли или из Биаррица – я уж не любопытствовала. Вы мне, Виктор Мироныч, клялись, образ снимали, что больше я об этой барыне не услышу!

Он повел глазами, и дерзкая усмешка появилась опять на его губах.

– Не смейте так на меня глядеть! – глухо крикнула она. – Мне теперь все равно, какие у вас метрески. Я вам не жена и не буду ею. Значит, вы свободны. А я только не хочу, чтобы вы срамили меня и детей моих. Разорить их я вас не поущу!

– Да в чем же дело? – нетерпеливо и на этот раз трусливо спросил Станицын.

– Я пришла вам сказать вот что: извольте от дел убраться. Дайте мне полную уверенность. Кажется, вам нечего меня бояться? Только на моей фабрике и есть порядок. Но вы и меня кредиту лишаете. Долгу сколько?

– Сколько? – повторил он совсем глупо.

– Сто семьдесят тысяч вами одними сделано в одиннадцать месяцев. Хотите, мы сейчас Трифоныча позовем? – и она указала на дверь. – И это такие, которые в известность приведены, а разных других, по счетам, да векселей, не вышедших в срок, да карточных... наверно, столько же. Вы что же думаете? Протянете вы так-то больше года?

Он молчал. Два векселя в сорок тысяч держит в руках жена. В кассе значилась самая малость. Фабрика шла в долг. Банки начали затрудняться учитывать его векселя. Это грозное появление Анны Серафимовны почти облегчило его.

– А перед братом у вас и совести нет, – продолжала она совсем тихо. – Благо он слабый, дурачок, рукава жуёт – так его и надо грабить... Да, грабить! Вы с ним в равной доле. А

сколько на него идет? Четыре тысячи, да и то их часто нет. Я заезжала к нему. Он жалуется... Вареньица, говорит, не, дают... папиросочек... А доктор ворчит... И он – плут... Срам!..

И она отвернула лицо. Глаза ее закрылись, и тень пробежала по щекам...

– Mais vous êtes drôle...²⁹ – начал было он и смолк.

– Претит мне! – перебила она повелительно и страстно. – Скройте вы с глаз моих! Уезжайте и проживайте где хотите! Будете получать тридцать тысяч.

– Две тысячи пятьсот в месяц? – со смехом крикнул он.

– Да, больше нельзя... Не хотите? – с расстановкой выговорила она. – Ну, тогда разделывайтесь сами. Вам негде перехватить. Фабрика станет через две недели. За вас я не плательщица. Довольно и того, Виктор Мироныч, что вы изволили спустить... Я жду!

Станицын вынул двухцветный фулярный платок, обмахнулся и зашагал взад и вперед.

Она дело говорила: занять можно, но надо платить, а платить нечем. Фабрика заложена. Да она еще не знает, что за этими двумя векселями пойдут еще три штуки. Барыня из Биаррица заказала себе новую мебель на Boulevard Haussman и карету у Биндера. И обошлось это в семьдесят тысяч франков. Да еще ювелир. А платил он, Станицын, векселями. Только не за тридцать же тысяч соглашаться!

– Mais, ma chère³⁰, – начал он, – как же я могу... есть, наконец, привычки...

– Через три года будете получать вдвое. Я ручаюсь. А теперь и этого нельзя. И одна моя просьба, уезжайте вы поскорей, Виктор Мироныч; вы видите, я не могла вас дожидаться, сюда приехала!..

Она надела шляпу, стала посредине комнаты и сложила руки на поясе.

– Comme c'est... – Станицын искал слово, – comme c'est propre...³¹ От жены такая сделка... Ха! Ха!

– Вы это говорите?!

– Разумеется... Лучше уехать... Вы на все способны!.. – Он приложился к пуговке воздушного звонка.

XXI

Вошел конторщик.

– Позовите Максима Трифоныча, – сказал ему Станицын и закурил сигару.

Анна Серафимовна отошла к окну, по другую сторону бюро, и стала завязывать шляпку. Она заметила, что муж сделал мимовольное движение плечами и пустил сразу длинную струю дыма. Победа одержана; муж сделает так, как она желает. Но была ли это победа? С таким человеком немислимы никакие уговоры. Чести у него нет, даже той «купеческой», которая передавалась из рода в род в ее «фамилии». А ведь отец его считался по всей Москве «честнейшим мужиком». Откуда же этот выродок? Мать была «распутная» и пила еще молодой женщиной. Анна Серафимовна не застала ее в живых, когда сделалась женой Виктора Мироныча, но слыхала от добрых людей. Потому, должно быть, и меньшой брат, Карп Мироныч, родился дурачком, а теперь и совсем полоумный... Да, этот постылый и бесстыжий муж наделает сейчас же за границу новых долгов. А как его удержишь? Он взрослый. Фирма существует. В Париже ничего не значит, купивши на десять тысяч франков, набрать в магазинах на двести. Еще, пожалуй, впутаешься с ним так, что и жизни не будешь рада! И теперь-то надо доставать денег...

²⁹ Но вы смешны... (фр.).

³⁰ Однако, моя дорогая... (фр.).

³¹ как это чистоплотно... (фр.).

Старший конторщик отворил дверь и в два приема приблизился к хозяину с наклоном всего корпуса.

– Написать полную доверенность надо, Максим Трифонович, – небрежно выговорил Станицын.

Он подошел к старику и говорил ему дальше вполголоса.

Максим Трифонович поднял на него глаза и тотчас же опустил их.

– На чье имя? – чуть слышно спросил он. Станицын кивнул вбок головой, на жену.

– На управление фабриками-с, с правом выдачи?..

– Ну да, ну да, – перебил его Станицын. – Ведь вы знаете...

– Черновую прикажете?

– Да уж это Анна Серафимовна вам укажет.

Ей неприятно сделалось, что муж сейчас же распорядился при ней, не соблюдая своего достоинства, – неприятно не за него, а за себя, как за его жену.

– Завтра утром ко мне придите и принесите черновую, – откликнулась она и поправила ленту.

– Больше никаких приказаний не будет? – осведомился старик.

– Никаких, – точно со смехом ответил Станицын и застегнул пиджак. – Я на днях еду, Максим Трифонович. Все дело будет вести вот Анна Серафимовна... до моего возвращения, – кончил он хозяйским тоном.

Максим Трифонович перешел глазами от Виктора Мироныча к его жене, глядя на них через очки. Он перевел дыхание, но незаметно. Сегодня утром он боялся за все станицынское дело и надеялся на одну Анну Серафимовну. Теперь надо половчее составить доверенность на случай непредвиденных «претензий» из-за границы.

Станицын взял с кресла шляпу и перчатки и, поморщиваясь от сигары, надевал их.

– Можете идти, – отпустил он Максима Трифоновича.

Обида, женская гордость, гнев, презрение как-то разом опали в душе Анны Серафимовны. Она теперь ничего определенного не чувствовала. Говорить с этим человеком ей не о чем. Но в его присутствии она испытывает всегда раздражение особого рода. Точно ей неловко перед ним. И отчего? Все оттого, что у ней в голосе иногда прорывается приволжское «о» да по-французски она не привыкла болтать. Ее учили, и она может вести разговор с иностранцами за границей, а с ним не решалась никогда, особенно при гостях. А он всякие слова выговаривает, и произношение у него от французского актера не отличишь; у всех этих «мерзких» по кафе и театрам выучился. Она знает ему цену и на его делах показывает ему, что он за человек, ловит его с поличным, а все-таки он считает себя «из другого теста», барином, джентльменом, с принцами знаком, а она – «купчиха». Надобно слышать, с каким выражением он произносит это слово. И теперь вот он струсил, расчел, что лучше так поладить, чем со срамом вылететь в трубу; а все-таки он не признает ее нравственного превосходства, не преклоняется перед ней, и ничем не заставишь его преклониться. Вот это ее и грызет, хоть она и не сознается самой себе. Такое ничтожество, такая пустельга, как Виктор Мироныч, у которого, как у кошки, «не душа, а пар», и считает себя из белой кости, а на нее смотрит как на кумушку!

Краска опять появилась у ней на щеках.

– Вас приятели ждут, – сказала она с сердцем.

– Дайте мне надеть перчатки, – возразил он и задирательно посмотрел на нее своими воспаленными глазами.

Опять злость закипела в ней. Хорошо, что этот человек уезжает: немудрено и отравить его или руками задушить. В какую минуту! Один его голос может привести в иступление. Минутами всю ее как-то корчит от его голоса и смеха. Разве можно выносить, как он надевает вот теперь перчатки, покачивается, курит, а сейчас возьмется за шляпу? Все дышит наглостью и чванством, закоренелой испорченностью купеческого сына, уже спустившего со смерти отца

до трех миллионов рублей. Как же его заставить преклониться перед собой, когда весь европейский «high life»³², лорды, маркизы, графы, эрцгерцоги толпились на его празднике, где живых цветов было на пятнадцать тысяч франков? Одного немецкого князька он собственноручно отгаскал и заплатил отступного. Любовниц отбил у двух владетельных особ. Где же ему обойтись тридцатью тысячами рублей? Разумеется, придется платить и все сто тысяч. Но и то лучше. Одно она хорошо знает, что она ему своих денег не даст и фабрики своей не заложит. Может детей у ней отнять? Она вся похолодела. На это и у него достанет ума. Нет! По чутью, как зверь, он должен догадаться, что с Анной Серафимовной шутки плохи на этот счет. И головы не несешь!..

Белки у нее потемнели, а зрачки снова сузились.

В эту минуту Виктор Мироныч стоял у двери и пропустил сквозь зубы фистулой:

– Bonjour...

Она не обернулась.

XXII

Одна в хозяйской половине амбара Анна Серафимовна вздохнула свободно. Она прошла немного, села в низкое кресло мужа и, позвонив, приказала себе подать чаю. Ей принесли стакан с лимоном. Станицын оставил на пюпитре несколько непросмотренных фактур и счетов. Анна Серафимовна позвала еще раз старшего приказчика.

Старик подошел к ручке. Она отдернула. Глаза его смотрели умиленно. Максим Трифонович искренне любил ее и тайно любовался ею как женщиной, давно прозвал ее «королевой» и удивлялся ее деловым способностям.

– До отъезда Виктора Мироныча, – сказала она, – я конторой заниматься не буду. Я уж на тебя полагаюсь, Трифоныч, а если нужно усилить счетоводство – возьми еще парня.

При муже она говорила ему «вы», но с глазу на глаз ей, да и самому Трифонычу, было ловчее так.

– Тут прибрать надо. Есть что к спеху? – спросила она, нагнув голову над бумагами.

– Платежи больше.

– Ну, так это до завтра... В кассе сколько?

Трифоныч помялся и с жалобной усмешкой вымолвил:

– Наличными – самая малость.

– Хорошо... Завтра доверенность как следует выправить. Я приготовлю. Виктора Мироныча уже беспокоить подписями нечего. Директор давно был по Рябининской фабрике?

– На той неделе.

– Написать ему потрудись, чтобы пожаловал.

– Слушаю-с.

– Наверху еще не забирались?

– Нет еще-с.

– Крикни-ка им, что я сейчас поднимусь.

Трифоныч вышел и тихо-тихо притворил дверь. Анна Серафимовна сняла опять шляпку, пальто и перчатки, аккуратно положила шляпку и пальто на диван, а перчатки на шляпу, хлебнула раза два из стакана и посередине комнаты вся выпрямилась, подперев себя руками сзади под ребра. Грудь у нее не опала от кормления двоих детей. Весь стан сохранил девственные линии. Хоть она и никогда не любила мужа, но разве она такая, как его «французенки», крашенные, обрюзглые или сухие, жилистые? Одни их сильные голоса – отвращение! Или та вот – тоже страсть-то, его, что в Биаррице познакомилась и теперь его обчищает?.. Вылитая немка

³² высший свет (англ.).

из Риги – нога в пол-аршина, губы намазаны, глаза навывкат. Она видела портрет. Портрет-то... шутка: шесть тысяч стоил! Еще год, другой, и будет она в дверь толщиной. Влюбись он в нее, в Анну Серафимовну, и тогда все ту же брезгливость будет она к нему иметь. Он для нее не мужчина; но срамиться, имея такую жену, с продажными гадинами, выдавать их по отелям за законных жен?!

Глаза ее окинули отделку лифа и юбку из тяжелого светло-песочного фая.

Она задумалась. Этот песочный цвет отзывался «купчихой». Она только тут это поняла. Зачем она выбирает такие цвета? Разумеется, самый купеческий цвет... «Жозефинка» говорила ведь ей, что не следует... А не все равно? Матерья прекрасная, немаркая, износу ей нет. Да для кого ей «шик»-то иметь? Она любит хорошие вещи, и всякий скажет, что она «дамой» смотрит, особенно на улице, в шляпке и в пальто или накидке. Да, на улице, в шляпке, а вот выбор материй-то и выдает. Не выбирай она купеческих колеров, и не было бы так часто на лице Виктора Мироновича пренебрежительной усмешки: «Пыжишься тоже, а вкус-то из Ножовой!»

Платье показалось ей совершенно безвкусным. Она подарит его племяннице. Не то чтобы она стыдилась своего звания, нет. Не желает она лезть в дворянки; но со вкусом одеваться каждый может... И нечего давать всякой дряни предлог смотреть на вас свысока оттого только, что вы цвета подходящего не умеете себе выбирать.

Наверху, в складах материй и сукна, приказчики приостановились забираться, все причесались и ожидали прихода хозяйки. Верхний амбар полон был света, заходившего именно теперь, к вечеру. По прилавкам и полкам играли полосы и «зайчики». Штуки разноцветного товара целыми стопами поднимались на прилавках и по полу, у окон и столбов, поддерживающих своды. Запах набивных ситцев и других бумажных тканей смешивался с более кислым запахом прессованного сукна. Склад держался в большой чистоте. Кроме штукатуренных стен, ясеневых полок и прилавков и чугунного пола, лестниц и перегородок, не к чему было пристать пыли и грязи.

Трифоныч слегка поддерживал хозяйку под левый локоть, когда она поднималась в верхний амбар.

– С месяц не была здесь, – сказала она и оглянула все помещение. – Тесно делается?

– Нет-с, еще управляемся, – откликнулся с поклоном главный доверенный приказчик, степенный мужчина за сорок лет, с огромной русой бородой.

Оптовых покупателей уже не ждали больше. Анна Серафимовна могла оглядеть товар без помехи. Ей принесли стул, но она не села, а отправилась сначала в «свое» отделение, где лежали сукна. Она знала толк в товаре и даже в фабричном деле. На своей фабрике почти каждого мальчишку звала она по имени. С главным приказчиком отделения сукон она перекинулась двумя-тремя словами, но в отделении шерстяного и бумажного товара ей захотелось побыть подольше. И тут она много разумела: сорт товара сразу называла точным именем и редко ошибалась в фабричной цене.

XXIII

Около прилавка, в уровень с ним, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила приказчика:

– Это бязь?

– Так точно.

– По какой цене?

Он назвал.

– Дешевле стала?

- На две копейки спустили, – пояснил приказчик.
- Всё армяне берут?
- Так точно.

Все приказчики боялись ее гораздо больше, чем хозяина. Его они давно прозвали «бездонная прорва» и «лодырь». Каждый из них старался красть. Им уже шепнули снизу, что, должно быть, «сама» берет в свои руки все дело. Тогда надо будет подтянуться. Кто-нибудь непременно полетит. Трифоныча они недолюбливали. Он усчитывал, что мог, и с главными приказчиками у него часто бывали перебранки. Трифоныч всегда держал руку хозяйки, почему его и считали «наушником» и «старой жилой».

На лестнице послышались скорые мужские шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это был Палтусов, в шляпе и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что он ее застал в амбаре, среди ситцев и сукон, как настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетело мгновенно, хотя и заставило ее покраснеть. Ну что ж такое? Она купчиха, владелица миллионной фабрики, занимается делом, смыслит в нем. Тут нет ничего постыдного. Хорошо, кабы все так поступали, как она.

Когда Палтусов подошел к ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

– Еду по Варварке, – мягко заговорил он, снимая шляпу и низко наклонив голову, как он делал только перед немногими женщинами. – Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна в амбаре, а Виктора Мироновича нет... Вы заняты? Не мешаю?..

От его голоса она заметно оживилась. В нем было что-то такое, что действовало на нее совсем особенно. Перед ним она редко совестилась своего звания; но зато ей хочется быть «выше» этого звания, чтобы он видел в ней «человека», а не «кумушку», как Виктор Миронович. И, кажется, Палтусов так и начинает на нее смотреть. Его наружность она находила резкой противоположностью фигуре и лицу мужа. Ей нравился его склад, рост, выражение глаз, голос, манера говорить и держать себя... Он – «из господ», с воспитаньем, везде принят, служил в кавалерии и лекции слушал, а не пренебрегает бывать в купеческих домах. И держится не как барин, спустившийся до купцов; во все он входит, обо всем обстоятельно расспросит, чрезвычайно прост, никогда не скажет ни одной банальной любезности. С Виктором Миронычем сухо вежлив. Ни разу у него не ужинал. Ему не надо ни его сигар, ни его шампанского. Такого «барина» она бы пригласила к себе в директоры фабрики, если б он был техник. Только она минутами не то боится его, не то в чем-то как будто подозревает.

- Мешаете? – переспросила она. – Ничуть!
- Рассматриваете товар?
- Да, надо...

Она пошла к лестнице и его пригласила рукой. Приказчики враз поклонились.

- Сами хозяйничать надумали? – говорил ей вслед Палтусов.
- Фабрикой... своей... я давно занимаюсь, а вот теперь...

Она остановилась на лестнице двумя ступеньками ниже его и обернулась, глядя на него снизу вверх.

- Супруг уехал?
- Уезжает.
- Надолго?
- Не знаю. Чай, на всю зиму.

Ее приволжское «чай» немного резнуло его ухо, но тотчас же и понравилось ему. Голова Анны Серафимовны с широкими прядями волос, блеск глаз и стройность стана – все это окинул он одним взглядом и остался доволен. Но цвет платья он нашел «купецким». Она подумала то же самое и в одну с ним минуту и опять смутилась. Ей стало нестерпимо досадно на это глупое, тяжелое да вдобавок еще очень дорогое платье.

- Не угодно ли чаю? – спросила она, стараясь улыбнуться, у дверей хозяйского отделения.

– Не откажусь, если есть.

– Сейчас... Максим Трифоныч, – кивнула она в сторону конторщика.

Палтусов вошел за нею.

– Вы, значит, берете на себя все дело? – сказал он ей тоном утвердительного вопроса.

– Как это вы догадались?

– Догадался. И очень рад.

Они присели на диван, налево от входа.

– Виктор Мироныч, – начал он, – не деловой человек. У него тоска по... бульварам.

Палтусов рассмеялся. Ей понравилось, что он говорит про ее мужа в тоне приличной шутки, хотя и давно раскусил его. Так она желала бы, чтоб в ее присутствии все говорили о Станицыне, пока она считается его женой.

– Да, – спокойно сказала Анна Серафимовна.

Незаметно Палтусов взял ее за руку и почтительно пожал.

– Хороший вы человек! – тихо вымолвил он и поглядел ей в глаза ласково и кротко.

У ней внутри защекотало. Она слегка выдернула руку и обернула голову.

– Что же, вы это из жалости говорите, Андрей Дмитрич? – спросила она.

– Нет! не из жалости! – с живостью возразил он. – Цельный человек!.. Русская культура вот такая и должна быть... А точно, – он как бы искал слово, – судьба ваша...

Он не договорил. Дверь скрипнула. Приказчик подавал ему стакан чаю.

– Вы не выпьете? – спросил Палтусов.

– Я уж пила.

– Вам ехать?

– Да, надо.

– И я тороплюсь.

Приказчик вышел.

– И вы опять соломенной вдовой останетесь?

Палтусов во второй раз заглянул ей в глаза, но на большем расстоянии.

– Да я давно соломенная вдова! – вырвалось у Анны Серафимовны.

Оба они поднялись разом с дивана.

XXIV

Им обоим приятно было бы остаться еще вдвоем в этом хозяйском отделении амбара. Но если б у Анны Серафимовны и не случилось экстренного дела, она бы все-таки поспешила уехать. Палтусова она принимала несколько раз у себя на дому, но в гостиной, в огромной комнате, на диване, в роли дамы, – она там не так близко сидела к нему, думала не о том, следила за собой, была больше стеснена, как хозяйка.

– Можно будет нанести вам визит? – спросил Палтусов с продолжительным наклоном головы и протянул ей руку.

– Милости просим, – весело сказала она и не успела высвободить свою руку, как он поцеловал ее немного выше кисти, где у ней поверх перчатки извивался длинный, до локтя, и тонкий браслет, в виде змеи, из платины.

– Я хотел расспросить вас подробнее о вашей школе.

Они выходили в наружное отделение конторы.

– Идет порядочно. Только вот теперь я реже буду ездить на фабрику.

«От сердца ли спросил он про школу?» – подумала она и опустила вуалетку. Трифоныч вырос перед нею. Оба конторщика приподнялись с своих мест. Палтусов еще раз простился и надел шляпу, когда брался за ручку двери. Она поклонилась ему и смотрела через стекло, как он вышел под свод рядов, повернул вправо, спустился с мостков и сел на пролетку. Его низкая

шляпа, изгиб спины, покрой пальто, лиловое одеяло на ногах, борода с профилем приходились ей очень по вкусу. Все это было и красиво и умно. Она так и сказала про себя: «умно».

Своим подчиненным Анна Серафимовна сделала один общий поклон и сказала Трифону, подбежавшему к ней, так, чтобы никто не расслышал:

– Завтра пораньше зайди... и принеси все платежи, самые нужные.

На что он шепнул:

– Слушаю, матушка, – и, подавшись назад, три раза тряхнул седеющей головой.

Малый у дверей бросился кликать кучера. Подъехал двухместный отлогий фаэтон с открытым верхом. Лошадей Анна Серафимовна любила и кое-когда захаживала в конюшню. Из экономии она для себя держала только тройку: пару дышловых, вороную с серой и одну для одиночки – она часто ездила в дрожках – темно-каракового рысака хреновского завода. Это была ее любимая лошадь. За городом в Парке или в Сокольниках она обыкновенно говорила своему Ефиму:

– Пусти-ка Зайчика!

Зайчик брал раза два призы. Дышловые были отлично выезжены. Ефим – не очень толстый, коренастый кучер, по-московски выбритый и с большими усами. Жил сначала в наездниках на помещичьих заводах, пил редко, за лошадьми ухаживал умело, отличался большой чистоплотностью и ценил в хозяйке то, что она любит лошадей, знает в них толк и жалеет их: ездит умеренно, зимой не морозит ни лошадей, ни кучера, когда нужно – посылает нанять извозчицью карету. При Викторе Мироновиче состоял свой кучер, который в отсутствие барина пьянствовал и водил в конюшню разных «шлюх».

Между Ефимом и Анной Серафимовной установилось большое понимание.

– В Ильинские ворота проедешь, – приказала она ему.

Малый застегнул фартук. Фаэтон тихо пробрался по переулку. Выехав на Ильинку, Ефим взял некрупной рысью. Езда на улице поулеглась. Возов почти совсем не видно было. Но треск дрожек еще перекачивался с одного тротуара на другой.

Из своей легкой на ходу коляски, покачиваясь на пружинах шелковой репсовой подушки, Анна Серафимовна глядела вперед, не поворачивая головы по сторонам. Она и обыкновенно не делала этого, а теперь ей надо было обдумать много серьезных деловых вещей. Сейчас она должна заехать к своему приятелю-советнику Ермилу Фомичу Безрукавкину. Он ее банкир и душеприказчик. Завещание свое она давно написала. С ним разговор будет короткий об деле. Деньги он приготовит. Ермил Фомич очень обрадуется, что с завтрашнего дня все поступит к ней на руки. Вот только охотник он до умных разговоров. А ей к спеху. Ждут ее обедать к «тетеньке» Марфе Николаевне Кречетовой. Там садятся ровно в пять. Ее подождут; но сильно запоздать она сама не хочет. Тетенька – человек нужный. Она при хороших деньгах; к племяннице большое доверие имеет. Придется, быть может, перехватить. У Ермила Фомича она не желала бы дисконтировать, хотя он с удовольствием, хоть на двести тысяч и больше. Да неизвестно еще, какие «сюрпризы» приготовит муженек в течение зимы.

Сквозь эти расчеты и соображения нет-нет то мелькнет лицо Палтусова, то вспомнится голос и та минута, когда он так быстро и ново для нее поцеловал ей руку выше кисти. И та минута, когда она стояла на лестнице и рассердилась еще сильнее на свое песочное платье. Теперь она опять слегка покраснела.

Проходил разносчик с ананасом и виноградом.

– Стой! – крикнула Анна Серафимовна Ефиму.

Она подозвала разносчика. «Куплю тетушке», – решила она, но начала основательно торговаться.

Ананас уступили ей за три рубля. Это ей доставило удовольствие: и недорого и подарок к обеду славный. Скупа ли она? Мысль эта все чаще и чаще приходила Анне Серафимовне. Скупа! Пожалуй, и говорят так про нее. И не один Виктор Мироныч. Но правда ли? Никому

она зря не отказывала. В доме за всем глаз имеет. Да как же иначе-то? На туалет, – а она любит одеться, – тратит тысячи три. Зато в школу целый шкаф книг и пособий пожертвовала. Можно ли без расчета?

Нежный запах ананаса, положенного в открытый верх коляски, достигал до ее обоняния. И опять всплыли глаза Палтусова. Глазам-то она не верит. Очень уж они мягки и умны. Такой человек на каждом хочет играть, как на скрипке...

Ефим свернул с Маросейки и остановился на просторном дворе у бокового крыльца в крытом проезде.

XXV

Надо было позвонить. Ермил Фомич жил по-заграничному. Прислуживали ему камердинер и мальчик. Как холостяк, он дома почти никогда не обедал; приедет из города, переоденется и на целый вечер в гости или обедать, а то в театр, если не сидит дома и не читает книжку нового журнала. До журналов – большой охотник и до русских запрещенных книг. Анна Серафимовна так и разочла: заехала к нему теперь, перед обедом. В своем амбаре он сидел только до четвертого часа, а потом заезжал в два-три места по городу, а иногда в Замоскворечье. Но домой непременно завернет, снимет визитку, черный сюртук наденет и шляпу другую. Для амбара у него шелковая, высокая, а для гостей – поярковая, какие живописцы за границей носят.

– Дома Ермил Фомич?

Отворил камердинер, небольшого роста, брюнет, франтовато и пестро одетый.

– Никак нет-с. Пожалуйте. Сейчас будут.

Он знал Анну Серафимовну. Ермил Фомич ему наказывал, что «эту даму» всегда просить и осведомляться, не угодно ли чего: чаю, кофею, зельтерской или фруктовой воды.

Дом у Ермила Фомича – небольшой, снаружи не очень внушительный, отделан художником... Уже в передней фрески на стенах и по потолку показывали, что хозяин не желал довольствоваться обыкновенной барской или купеческой лакейской. Отделка следующих комнат, библиотеки, столовой, двух гостиных, комнаты в готическом вкусе, спальни и образной, была известна Анне Серафимовне. Она мало понимала в произведениях искусства. Картины, бюсты, вазы оставляли ее равнодушной. И своей «тупости» она не скрывала. Муж ее не покупал картин. Деньги шли у него на кутежи, чванство, женщин и карты. Развить свой артистический вкус ей было не на чем у себя дома, а за границей на нее напала ужасная тяжесть и даже уныние от кочевания по залам Дрезденской галереи, Лувра, венского Бельведера, флорентийских Уффиций.

Но во второй, маленькой, гостиной у Ермила Фомича висит картина – женская головка. Анна Серафимовна всегда остановится перед ней, долго смотрит и улыбается. Ей кажется, что эта девочка похожа на ее Маню. Ей к Новому году хочется заказать портрет дочери. За ценой не постоит. Пригласит из Петербурга Константина Маковского.

Камердинер ввел ее в первую гостиную, с узорчатым ковром и золоченой мебелью с гобеленами, и спросил, как всегда:

– Не угодно ли чего приказать?

Она ответила, что ничего не желает, опустилась у окна в кресло и тут только почувствовала усталость в ногах, не от ходьбы, а от волнений сегодняшнего дня.

Потом вынула из кармана записную книжечку в шелковом сиреневом переплете, прикоснулась кончиком языка к карандашу и записала несколько цифр.

Надо изложить все Ермилу Фомичу покороче и подельнее насчет доверенности и прочего. А деньги он приготовит. В банки она не любила вкладывать. Да и не тот процент. Бумаг

купить – лопнет общество или сам банк. Такой же человек, как Ермил Фомич, не лопнет. Ему ничего не значит давать ей десять процентов. Он не дисконт и все сорок получит с ее же денег.

С четверть часа подождала Анна Серафимовна. Каждый раз, когда она попадала в дом Безрукавкина, ей приходила мысль: почему это Ермил Фомич не присватался за нее десять лет назад? Отец отдал бы за него непременно. Ему, правда, лет сильно за пятьдесят, а тогда было за сорок. Влюбиться в него трудно; да и зачем? Жила бы в почете, покойно, он бы ее только похваливал, нашел бы в ней добрую помощницу. И какое она добро делает – все бы ему по душе. Он книжек читает больше ее, да и не очень скуп. Картины его надо бы похвалить, а она не понимает в них толку. Так она и теперь улыбается, когда он ей расписывает, что вот в этом ландшафте есть особенного. Она и теперь к его языку применилась: знает, что есть «сочная кисть» и «колорит», и освоилась с словом «зализать» и «компоновка». А тогда и подавно бы применилась. И вдовой раньше бы была. Будто больше ничего и не надо?

Глаза Анны Серафимовны блеснули и прикрылись веками. Еще раз кусок сегодняшнего разговора с Палтусовым припомнился ей. Он назвал ее «соломенной вдовой». И она сама это подтвердила. У ней это сорвалось с языка, а теперь как будто и стыдно. Ведь разве не правда? Только не следовало этого говорить молодому мужчине с глазу на глаз, да еще такому, как Палтусов. Он не должен знать «тайны ее алькова». Эту фразу она где-то недавно прочла. И Ермил Фомич когда разойдется, то таким точно языком говорит.

– А!.. бесценная Анна Серафимовна! – раздалось над ее головой.

Безрукавкин, полный, русый, не очень еще старый, бородатый человек, в коротком клетчатом пиджаке, на вид скорее помещик, чем коммерсант, протягивал ей обе руки.

Она встала. Он ее опять усадил и, не выпуская рук, присел рядом на другое кресло.

– Денег надо, Ермил Фомич, – весело начала она.

– Черпайте! Приказывайте! Ваш слуга и казначей...

– Да, может, моих-то не хватит...

– Так за мои примемся. А разве муженек?!

В десяти словах она ему все изложила. Ермил Фомич слушал, закрыв совсем глаза, и чуть слышно мычал.

XXVI

– Так вот как-с, – выговорил с ударением Безрукавкин и поник головой.

– Одобряете? – спросила она.

– Еще бы! Абсолютно!

Он встряхнул волосами по моде сороковых годов «à la moujik»³³ и, улыбаясь, глядел на свою гостью.

– Еще бы! – повторил он. – Умница вы, да и какая! Вас бы надо к нам в биржевой комитет или в думу... Ей-ей! Все это превосходно – и полное мое вам одобрение. Завтра пораньше Трифоныча ко мне... Какую надо сумму и проектец доверенности. У меня есть дока... Из наших банковых юрисконсультов. Я ему завтра покажу, нарочно заеду. Так вы, – он начал говорить тихо, – пенсиончик супругу-то положили?..

Они оба расхохотались.

– А за пазухой надо сотни тысяч держать!

– Да я так и буду готовиться, Ермил Фомич.

– Пожалуй, и не хватит!..

Он ее жалел. С «дамами» Безрукавкин всегда бывал любезен, но Анну Серафимовну отличал особенно. Его влекли к ней, кроме наружности, ее деловая натура и «истовый» вид,

³³ по-мужицки (фр.), т. е. в скобку.

умение держать себя. И по части «вопросов» можно с ней пройтись. Серьезные книжки любит читать, статейку ей укажешь – непременно прочтет, слушает его почтительно, спорит мало и, если с чем не согласна, возражает умно. Не раз и он жалел: почему не пришло ему на мысль присвататься к ней десять лет тому назад? Очень уж он сжился с своей холостой свободой. Все говорил: «Так-то лучше», да и не взвиделся, как пятьдесят семь годков стукнуло.

Анна Серафимовна встала и посмотрела, который час. Пора на обед к тетке. Ермил Фомич протянул ей обе руки и задержал ее еще минуты на две в гостиной.

– Когда же мы сядем рядком, – спросил он, – да потолкуем ладком?

– Забываете меня, заехали бы когда-нибудь. Я вечера все дома сижу.

– Какова статейка-то в последнем номере, а?

Они перешли в его библиотеку.

– Не читала еще.

– А-а! Прочтите! Знамение времени! Вы раскусите, чем пахнет! Есть что-то такое, как бы это сказать... Протестация. Пришел конец нашему квасу-то. Мы шапками закидаем! Мы да мы! А вся Европа нам фигу кажется...

Безрукавкин быстро подошел к письменному столу и взял книгу журнала. Она была возвращена. Он надел было очки и собрался прочитать Анне Серафимовне целую страницу.

«Батюшки!» – испугалась она и начала отступать к двери.

– Торопитесь? – спросил он с книжкой в руке.

– Да, извините, Ермил Фомич, спешу.

– Жаль, а тут вот есть одно выражение. Так у нас еще не писали. Я боялся – остановка будет месяца на четыре, однако до сих пор Бог миловал...

– Вот вы какой!.. – пошутила она.

– Я такой!.. Это точно. Из старых западников... У меня какие друзья-то были? Кто мне дорогу-то указал?.. Храни, мол, Ермил, наши... как бы это сказать... инструкции. Я и храню! Перед Европой я не кичусь! Наука...

Он не закончил и подбежал к этажерке с книгами.

– Эту вещицу не видали?

Глаза его заблестели, когда он поднес брошюру к лицу Анны Серафимовны. Она прочла заглавие.

– Интересно? – спросила она боязливым звуком. Ермил Фомич оглянул комнату и продолжал шепотом и немного в нос:

– Я, вы знаете, этих господ не признаю. Они чрез край хватили... Додумались до того, что наука, говорят, барское дело!.. Каково? Наука! А что бы мы без нее были?.. Зулусы или, как их еще... вот что теперь Станлей, американец, посещает... А есть два-три места... мое почтение! Я отметил красным карандашом.

Анна Серафимовна стояла уже в дверях передней.

– Ах да! Вам к спеху... Не хотите ли просмотреть брошюру?

– Боюсь, Ермил Фомич!

– Вы-то?.. Да вы смелее любого из нас.

– Где уж! Дай Бог со своей-то домашней политикой справиться.

– Ну, коли так, с Богом! Пожалуйте руку. А если что – не побрезгуйте, заверните в амбар.

– У вас там и без меня много дела.

– Какой!... Так, по инерции... Ей-богу! Сидишь, сидишь... Один вексель учтешь, другой, третий; отчет по банку или по обществу просмотришь; в трактир чайку! Китай!.. Ташкент!.. По сие время еще в татарщине находимся!

И он резнул себя по горлу.

В передней Ермил Фомич собственноручно отворил Анне Серафимовне дверь в сени и крикнул камердинеру:

– Проводи!

XXVII

К тетушке Марфе Николаевне езды было четверть часа. Минут пять она опоздает, не больше. До сих пор все идет хорошо. Ермил Фомич – верный друг. Он считается, как и она, скуповатым, а по своей части кряжистым «дисконтером», но она знает, что он способен открыть ей широкий кредит. Да до кредита авось дело и не дойдет. Если она и спустит весь свой капитал в первые два года, так после выберет его. А ее суконная фабрика пойдет своим обычным порядком. Какой на нее «оборотный» капитал нужен, она не тронет его. Чистого дохода с фабрики она не проживет, даже если бы с мануфактур Виктора Мироновича и не получалось никакого дохода, до покрытия его долгов. Только надо хорошенько все оговорить и следить за ним. Пожалуй, придется иметь верного человека за границей.

Она задумалась.

Не хорошо! Что ж это будет в сущности? Похоже на шпионство. Какое шпионство? Простое наблюдение... Под рукой кому следует дать знать – магазинщикам и прочему люду, что хотя он и может подписывать векселя, но платить нечем, все у него заложено, а распоряжение делом – у жены. Если он не уймется – она ему предложит дать ей вторую закладную на мануфактуры. Тогда пускай пишет векселя. За нею все равно останется его недвижимость. Не хватит у нее своих денег, Ермил Фомич даст без залога, учтет вексель на какую угодно сумму, да и в банках можно учесть. У ней лично кредит солидный – где хочет: и в государственном, и в торговом, и в купеческом, и в учетном.

Все дела да дела, расчеты, подозрения, цифры, рубли. Сушь! А день стоит такой радостный. Вот пять часов, а тепло еще не спало. Даже на весну похоже: воздух и греет и опаживает свежестью.

Анна Серафимовна потянула на себя полы шелкового пальто. Она не вернется домой до вечера. А вечером засвежеет. Кто знает, быть может, и морозик будет. Ведь через несколько дней на дворе октябрь. Ей дадут что-нибудь там, у тетки. Она не одного роста с кузиной, зато худощавее.

Коляска ехала на добрых рысях. Ефим натянул вожжи. Лошади, настоявшись досыта, немного горячились и закусывали то та, то другая удила уздечки. Раза два на плохой мостовой порядочно качнуло. Но нить мыслей Анны Серафимовны не прервалась. Дела не позволяли ей отдаться своим ощущениям. Да, она за последнее время точно отказалась от своей жизни. Как будто забыла, что ей всего двадцать семь лет, что считают ее хорошенькой, целуют ручки, всячески отличают ее, обходятся с нею совсем не так, как с женщинами ее круга. Не потому ли, что она слывет за миллионершу? Кто знает? И этот Палтусов точно так же...

Она не замечала, что уже третий раз после разговора в амбаре мысль ее переходила к этому человеку. Ей хотелось теперь еще сильнее, чтобы он не смотрел на нее только как на купчиху-скопидомку. Надо ей больше читать, – вот когда дело наладится, после отъезда мужа. Она немало читала и любит серьезные вещи. Не слишком ли уж она скромна? Вон хоть бы взять Ермила Фомича. Он так и режет. Правда, не всегда у него иностранное слово кстати. Сегодня он пустил и «протестации» и «инерцию»... А ведь он на медные деньги учился. Когда он ей раз записку написал, так ни одной живой «яти» не было. Разве у ней такая грамотность? Она из пансиона второй ученицей вышла... И детей будет сама учить – и русскому, и когда надобность будет, так и арифметике и географии. Степенность и осторожность ее одолевают. И людей мало видит умных, развитых. А Ермил Фомич промежду них терся лет еще двадцать пять назад; на нем и осталась эта чешуя... Вот он «западник» – и поди с ним тягайся!

Ловко, крутым поворотом влетел Ефим во двор одноэтажного длинного дома с мезонином и крыльями – вроде галерей, – окрашенного в нежно-абрикосовый цвет. Двор уходил

вглубь, где за чугунной белой решеткой краснели остатки листьев на липах и кленах. Дом Марфы Николаевны Кречетовой занимал широкую полосу земли, спускавшейся к Яузе. Из сада видны были извилины реки, овраги, фабрики, мост, а над ними, на другом берегу, – богатые церкви и хоромы Рогожской, каланча части, и еще дальше – башни и ограды монастыря. Точно особенный город поднимался там, весь каменный, с золотыми точками крестов и глав, с садами и огородами, с внешне строгой обрядной жизнью древнего благочестия, с хозяйским привольем закровов, амбаров, погребниц, сараев, рабочих казарм, затейливых беседок и вышек.

XXVIII

В переднюю, просторную низкую полукруглую комнату, высыпала молодежь встретить Анну Серафимовну. Поднялись говор, смех, оглядыванье туалета, поцелуи. Всех шумнее держала себя ее двоюродная сестра, меньшая, незамужняя дочь Марфы Николаевны – Любаша, широкоплечая, небольшого роста, грудастая девица. Ее темные волосы были распущены по плечам. Заметный пушок лег вдоль верхней губы. Разом взявшись за руки, накинулись на гостью две девушки, обе блондинки, высокие, перетянутые, одна в коротких волосах, другая в косе, перевязанной цветною лентой, – такие же бойкие, как и Любаша, но менее резкие и с более барскими манерами. Одна была консерваторка Кисельникова из купеческих дочерей, другая – учительница Селезнева, дающая уроки по богатым купцам, из чиновничьей семьи. Они очень походили одна на другую и схоже одевались, бывали в одних домах, разом начинали хохотать и кричать, вместе бранились с своими кавалерами и беспрестанно переглядывались. В дверях показались два подростка в расстегнутых мундирах технического училища, а за ними, уже из залы, видна была низменная фигура молодого брюнета в бородке, с золотым ринсе-пез, в белом галстуке при черном, чрезмерно длинном сюртуке, – помощник присяжного поверенного Мандельштауб, из некрещеных евреев.

– Тетя! Пора! – кричала Любаша, тиская Анну Серафимовну.

Она давно привыкла звать ее «тетя».

– Всего пять минут опоздала.

– Жрать смерть хочется! – сошкольничала Любаша на ухо, но так, что подруги ее слышали и разразились смехом.

– Ах, Люба! – вырвалось у Селезневой. Она при посторонних церемонилась.

– Ну ладно! – отозвалась Любаша. – Тетя! голубушка! шляпка-то у вас – целый овин. А лихо! Только я ни за что бы не надела. Пожалуйте, пожалуйста, родительница уж переминается.

Она схватила Анну Серафимовну за плечи и больше потащила, чем повела в залу.

– Брысь, брысь! Реалисты-стрекулисты! – крикнула она на техников, расталкивая их. – Не пылить!..

В зале накрыт был стол во всю длину, человек на четырнадцать. Особой столовой у Марфы Николаевны не было. Она не любила и больших дубовых шкапов. Посуда помещалась в «буфетной» комнате. Белые с золотом обои, рояль, ломберные столы, стулья, образ с лампадкой; зала смотрела суховато-чопорно и чрезвычайно чисто. За чистотой блюла сама Марфа Николаевна, а Любаша, напротив, оставляла везде следы своей непорядочности.

– Вы не знакомы? – спросила она помощника в белом галстуке, указывая на Станицыну.

– Не имел удовольствия встречать... – начал было он.

– Ну вы как затянете. Тетя моя, то бишь сестра двоюродная... ну да это все равно... Анна Серафимовна. Видите, какая прелесть... А это адвокат... то бишь помощник Мандельбаум.

– Штауб, – поправил он полубожиженно, но улыбающийся.

За Любой давали полтора ста тысяч – можно было и православие принять.

– Ну, все равно! Штауб, Баум, Шмерц. Все едино, что хлеб – что мякина... А вы знаете, тетя милая, у нас зять.

– Кто? – тихо спросила Анна Серафимовна, все еще не пришедшая в себя.

– Зять, Сонин муж. Доктор Лепехин. Вот сейчас справлялся тоже – скоро ли обедать. А я ему говорю: лопайте закуску!

– Любовь Саввишна, – покачал головой брюнет, – вы все нарочно.

– Сойдет!.. Для таких кавалеров не начать ли парлефрансе?

И она чуть-чуть не высунула ему язык. Девицы шли назад и все «прыскали».

В дверях гостиной наткнулись они еще на подростка – в солдатском мундире, очках, с большим количеством прыщей на красном, потном лице. Он хлопнул каблуками.

– Это ничего, – пояснила Любаша Анне Серафимовне. – Из училища. Я им всем говорю: что вы к нам шатаетесь? Зубрить вам надо. Ей-богу, директору напишу, чтоб пробрали. А он все насчет любовной страсти. Этакие-то корпусятники!

Любаша приложила руку к сердцу, сгримасничала и тряхнула своей гривой. Анна Серафимовна сдержанно засмеялась и шепнула ей:

– Полно, нехорошо!

– Сойдет! – крикнула ей в ответ Любаша и ввела в гостиную.

XXIX

На среднем диване, под двумя портретами «молодых», писанных тридцать пять лет перед тем, бодро сидела Марфа Николаевна и наклонила голову к своему собеседнику, доктору Лепехину, мужу ее старшей дочери Софьи, медицинскому профессору, приезжему из провинции. Марфа Николаевна сохранилась: темные волосы, зачесанные за уши, совсем еще не серебрились даже на висках, красиво сдавленных. Кожа потемнела против прежнего, но все еще была для ее лет замечательно бела. В линии носа, в глазах, не утративших блеска, сидело фамильное сходство с племянницей. Она немного согнулась, но не сторбилась. Голову ее драпировала черная кружевная косынка, надетая по-своему, вроде платочка. Черное же шелковое платье с большой пелериной придавало ей значительность и округляло ее сухой стан. Она все собирала и как бы закусывала свои тонкие губы, почему кумушки и болтали, что она придерживается рюмочки. Но это была чистейшая клевета. Марфа Николаевна, правда, имела привычку выпивать за обедом и ужином по рюмке тенерифу, но к водке отроду не прикладывалась.

Обширный диван с высокой резной ореховой спинкой разделял две большие печи – расположение старых домов – с выступами, на которых стояло два бюста из алебаstra под бронзу. Обивка мебели, шелковая, темно-желтая, сливалась с такого же цвета обоями. От них гостиная смотрела уныло и сумрачно; да и свет проникал сквозь деревья – комната выходила окнами в сад.

Зять Марфы Николаевны Анна Серафимовна видела всего два раза: когда он венчался да еще за границей. Ей показалось, что он похудел и оброс еще больше волосами. Борода началась у него тотчас под нижними веками. На голове волосы курчавились и торчали в виде шапки. Ему можно было дать лет тридцать пять. В начинающихся сумерках гостиной блестели его большие круглые глаза восточного типа. Он весь ушел в кресло и поджал под него длинные ноги. Фрак сидел на нем мешковато: профессор приехал от какого-то чиновного лица.

– Ах, Аннушка! – встретила Марфа Николаевна племянницу своим певучим голосом. – Мы думали – не будешь. Спасибо, спасибо.

Старуха приподнялась с дивана, вышла из-за стола, обняла Анну Серафимовну и поцеловала ее два раза.

– Маменька! – вмешалась Любаша. – Я велю давать суп. Мужчинки, – крикнула она, – полумужчинки! закуску можете травить!.. Марш!

– Люба, что ты это мелешь? – не то что очень строго, но все-таки по-матерински остановила ее Марфа Николаевна.

Она давно перестала сердиться на дочь за ее язык и обхождение. Ссориться ей не хотелось. Пожалуй, сбежит... Лучше на покое дожить, без скандала. Марфа Николаевна только в этом делала поблажку. В доме хозяйкой была она. Деньги лежали у нее. Вся недвижимость муж ей оставил в пожизненное владение, а деньги прямо отдал. Люба это прекрасно знала.

– Егор Егорыч, – обратилась она к зятю, – наша Аннушка-то какая милая!.. Вы как ровно не признали ее.

– Признал-с, – ответил горловым голосом зять, встал и протянул руку Анне Серафимовне.

Он ей никогда не нравился. Она даже побаивалась его учености и резкого тона. Говорил он – точно ногу или руку резал.

– Закусить милости прошу, – пригласила старуха. – Люба, проси гостей в залу.

Племянницу Марфа Николаевна придержала в гостиной и шепнула ей:

– Не привез жену-то!.. Так скрутил! Даром что бойка была. Вот я тоже и Любове говорю: дай срок-от, нарвешься ты вот на такого же большака...

Опершись слегка на руку Анны Серафимовны, красивая старуха перешла в залу, истово перекрестилась большим крестом, села на хозяйское место, где высилась стопа тарелок, и начала неторопливо разливать щи.

– Сюда, сюда, – указывала она рядом с собою Анне Серафимовне.

Молодежь долго шушукалась и топталась около закуски. Из задней двери выплыли две серые фигуры и сели, молча поклонившись гостям.

– Где же Митроша? – спросила Марфа Николаевна.

– Не приезжал еще! – откликнулась Любаша. – Нам из-за него не... – Она хотела сказать «околевать», но воздержалась.

Остались не занятыми два прибора. Подростки и девицы, наевшись закуски, загремели стульями и заняли угол против хозяйки.

XXX

– Тетя! – крикнула Любаша через весь стол, упершись об него руками. – Знаете, кого мы еще к обеду ждали?

– Кого?

– Сеню Рубцова... вы его помните ли?

Анна Серафимовна стала вспоминать.

– Родственник дальний, – пояснила Марфа Николаевна, – Анфисы Ивановны покойницы сынок. И тебе приходится так же, – наклонилась она к племяннице.

– Нашему слесарю – двоюродный кузнец!.. – откликнулась Любаша.

Техники и юнкер как-то гаркнули одним духом. Профессор ел щи и сильно чмокал, посапывая в тарелку. Прислуживал человек в сюртуке степенного покроя, из бывших крепостных, а помогала ему горничная, разносившая поджаристые большие ватрушки. Посуда из английского фаянса с синими цветами придавала сервировке стола характер еще более тяжеловатой зажиточности. В доме все пили квас. Два хрустальных кувшина стояли на двух концах, а посредине их массивный граненый графин с водой. Вина не подавали иначе, как при гостях, кроме бутылки тенерифа для Марфы Николаевны. На этот раз и перед зятем стояла бутылка дорогого рейнского. Молодежи поставили две бутылки ланинской воды; но техники и юнкер пили за закускою водку, и глаза их искрились.

– Тетя! – крикнула опять Любаша. – Сеня-то какой стал чудной! Мерикианца из себя корчит! Мы с ним здорово ругаемся!

Анна Серафимовна ничего не ответила. Она расслышала, как адвокатский помощник сказал Любаше:

– А вы большая охотница... до этого?..

Тетка старалась ввести ее в разговор с зятем. Он обеих давил своим присутствием, хотя и держался непринужденно, как в трактире, и не выражал желаний кого-либо из присутствующих занимать разговорами.

– Вот, Егор Егорыч, – начала Марфа Николаевна, – рассказывает про свои места... Про поляков... не очень их одобряет...

Он только повел белками и выпил после тарелки щей большую рюмку рейнвейна.

– Егор Егорыч, – подхватила с своего места Любаша, – прославился тем, что Дарвинову теорию приложил к обрусению... Не пушай! Как у Щедрина...

Вся молодежь расхохоталась. Мандельштауб даже взвизгнул, белокурые девицы переглянулись к толкнули одну другую.

– Люба! – строго остановила мать и покачала головой.

Обросшие щеки профессора пошли пятнами.

– А вы знаете ли, что такое Дарвинова теория? – спросил он глухо.

– Гни в бараний рог! Кто кого сильнее, тот того и жри!.. – обрезала уже в сердцах Люба. Она терпеть не могла своего шурина.

– И будем гнуть-с! – также со злостью ответил он и ударил ножом о скатерть.

«Господи! – подумала Анна Серафимовна. – Они подерутся».

Подали круглый пирог с курицей и рисом, какие подавались в помещичьих домах до эмансипации. Зазвякали ножи, все присмирели, и в молодом углу ели взапуски... Любаша ужасно действовала своим прибором. Анна Серафимовна старалась не глядеть на нее. Вилку Любаша держала торчком, прямо и «всей пятерней» – как замечала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножик – так же, ела с ножа решительно все, а дичь, цыплят и всякую птицу исключительно руками, так что и подруг своих заразила теми же приемами. Невольно бросила Анна Серафимовна взгляд на свою кузину. В эту минуту Любаша совсем легла на стол грудью, локти приходились в уровень с тем местом, где ставят стаканы, она громко жевала, губы ее лоснились от жиру, обеими руками она держала косточку курицы и обгрызывала ее. Глаза ее задорно были устремлены на зятя и говорили: «Вот дай срок, я догложу, задам я тебе феферу!»

– Как вы это страшно сказали, – с улыбкой заметила Анна Серафимовна профессору.

Он дожевал и, не поднимая головы, выговорил:

– Такой народ!..

– Маменька, – донесся голос Любаши, – здесь вина нет... Там рейнвейн стоит, – и она ткнула головой в воздух, – а здесь хоть бы чихирю какого поставили.

Мать показала головой лакею на свою бутылку тенерафу.

– Нет, нет! Покорно спасибо. Пожалуйте нам красного!.. Лафиту!

Подозвана была горничная. Марфа Николаевна что-то шепнула ей и сунула в руку ключи. В передней слышались шаги.

– Вот Митроша! – возвестила Любаша; потом оглядела всех и вскрикнула: – Ведь нас тринадцать будет!..

Все переглянулись, не исключая и зятя. Мать пустила косвенный взгляд на две серые фигуры: одна была приживалка – майорша, другая – родственница, вдова злостного банкрота.

– Ха-ха! – сквозь зубы рассмеялся зять и поглядел на Любашу. – Дарвина имя все употребляете, а тринадцати за столом боитесь.

– И боюсь. И все боятся, только стыдно сказать... И вы, когда попа встретите, что-то такое выделяете, я сама видала.

Приживалка-родственница безмолвно встала и отошла в сторону.

– Поставь их прибор на ломберный стол, – приказала лакею Марфа Николаевна.

Все точно успокоились и стали доедать рис и сладкие корки пирога.

Подали и бутылку красного вина. Досталось по рюмке молодому концу стола. Любаша пролила свое вино; юнкер начал засыпать пятно солью и высыпал всю солонку.

XXXI

К ручке Марфы Николаевны подошел сын ее Митроша, или «Митрофан Саввич», как звала его сестра, когда желала убедить его в том, что он «идиот» и «чучело». Он походил на сестру только широкой костью и не смотрел ни гостинодворцем, ни биржевиком. Всего скорее его приняли бы за домашнего учителя или даже за отставного военного, отпустившего бороду. Одет он был в модный темный драповый сюртук, но все на нем сидело небрежно и точно с чужого плеча. Рыжеватые волосы, давно не стриженные, выдавались над лбом длинным клоком, борода росла в разных направлениях. На переносице залегли две прямые морщины, и брови часто двигались. Ему минуло двадцать семь лет.

Митрофан Саввич поклонился всем небрежно и торопливо и сел рядом с шурином. Он его почитал и постоянно ему поддакивал. Анна Серафимовна знала наперед, как он будет себя вести: сначала посидит молча, будет жадно «хлебать» щи и громко жевать сухую еду, а там вдруг что-нибудь скажет насчет политики или биржи и начнет кричать сильнее, чем Любаша, точно его кто больно сечет по голому телу; прокричавшись, замолчит и впадет в тупую угрюмость. Если за столом сидит кто, играющий на каком-нибудь инструменте, он заговорит о своем корнет-пистоне. Играет он целые дни по возвращении домой, собрал на своей половине целую коллекцию медных инструментов, а когда устанет, призовет двух артельщиков и приказывает им действовать на механическом фортепьяно. С десяти до четырех он сортирует товар: марену, кубовую краску, буру, бакан, кошениль, скипидар, керосин. В этом он считается большим докой. Перед обедом бывает на бирже. Анна Серафимовна все это знала и почему-то каждый раз говорила себе: «А ведь свезут его когда-нибудь в Преображенскую больницу». Не прошло и пяти минут, как Митроша выпил квасу и уже кричал высокой фистулой по поводу какой-то депеши об англичанах:

– Торгаши проклятые!.. Опять гадить!.. Уж мы их припррем!.. Эти самые текинцы! Откуда взялись текинцы? Биконсфильд!.. Жидовское отродье! И вдруг в лорды произвели! С паршами-то!

Помощник присяжного поверенного повернул голову в своих высоких стоячих воротниках при крике «жидовское отродье». И «парши» ему не пришлись по вкусу. В другом месте он напомнил бы, что и Спиноза был тоже «с паршами», но полтора ста тысяч... все полтора ста тысяч...

Любаша наклонилась к нему и сказала громким шепотом:

– Пускай его!.. Сейчас клапан-то закроется! У него ведь это вдруг!..

Девицы хотели расхохотаться, но просидели тихо: каждая имела тайные виды на Митрошу.

Шурин согласился с ним. Молодежь слышала, как он с каким-то даже щелканьем своих белых зубов сказал:

– Пустить надо грамоты! Индийский народ за нас.

«Что за столпотворение вавилонское», – подумала Анна Серафимовна. Ее начало давить, как во сне, когда вас «домовой», – так ей рассказывала когда-то няня, – душит своей мохнатой лапой.

Рыба на длинной деревянной доске, покрытой салфеткой, следовала за пирогом. Соус «по-русски» подавала горничная особо. Любаша, как и все, кроме Анны Серафимовны, – ее научил муж, – ела всякую рыбу ножом и крошила ее, точно она собирается мастерить тюрю. Никто не услышал, как в дверях залы показался новый гость, высокого роста, с волосами и бородкой каштанового цвета и пробритой губой, что могло бы придавать ему наружность гол-

ландского или шведского шкипера. Но черты его загорелого лица были чисто русские, не очень крупные. Круглый нос и светло-серые глаза, сочные губы и широкий подбородок – все это отзывалось Поволжьем. Вокруг рта и под носом появлялись мелкие складки юмора.

Он держал в руках шотландскую шапочку. На нем плотно сидел клетчатый коричневый сыют. Его сапоги на двойных подошвах издавали сильный скрип.

– Сеня! – первая увидела его Любаша, бросила салфетку, не утеревшись, и вскочила из-за стола.

– Опять тринадцать будет! – крикнула девица Селезнева.

Приживалку посадили на прежнее место. Было немало хохоту. Новый гость пожал руку Марфе Николаевне, Любаше, ее брату и шурина. Его посадили рядом с Анною Серафимовною.

XXXII

Их перезнакомили. Действительно, он приходился в одинаковом дальнем родстве и покойному мужу Марфы Николаевны, и ей самой, и стало быть, и Анне Серафимовне. Тетка припомнила племяннице, что они «с Сеней» игрывали и даже «дирались», за что Сеню раз больно «выдрали». Анна Серафимовна незаметно, но внимательно оглядела его.

– Как вас звать? – тихо спросила она под шум голосов и стук ножей.

– Купеческий брат Любим Торцов, – пошутил он. Говор его не то что отзывался иностранным акцентом, а звучал как-то особенно, пожестче московского.

– Нет, по отчеству?

– Тихоньч! – уже совсем по-купчески произнес он и даже на «о» сильнее, чем она произносила.

Это ей понравилось.

– Вы на Волге все жили? – спросила она.

– На Волге... десять лет невступно.

– Ведь я старше вас? – ласково выговорила она и в первый раз подольше остановила на нем свои глаза.

Рубцов тоже уставил глаза в ее брови: он таких давно не видал.

– Ну, вряд ли, – бойко, немного хриповатым голосом ответил он... – Мне двадцать шестой пошел. Я вот Митрофана на два года моложе.

– А я вас на два года старше...

Ей и то почему-то было приятно, что она старше его... На вид он смотрел тридцатилетним.

– И вы, – продолжала она понемногу спрашивать, – давно с Волги-то?

– ...Да семь годов будет... Аттестат зрелости не угодил получить. Вы нешто не слышали? Отец в делах разорился в лоск... И мать вскорости умерла. Сестра в Астрахани замужем. Вот я, спасибо доброму человеку, и уехал за море.

– В Англии всё были?

– И в Америке тоже. Какие крохи оставались – я махнул на них рукой... Да вы что же все про меня? Вы лучше про себя расскажите. Вон вы, сестричка, какая... Вы не обидитесь? Я вас, помню, так звал.

– Зовите... И по какой же вы там части?

– Да по всякой... Кой-чему научился как следует. Из фабричного дела – суконное знаю порядочно.

– Суконное? – вскричала Анна Серафимовна.

– А что?

– Как это славно!

– Не хотите ли меня брать?

– Что же?

– Смотрите! Дорог я!

Он рассмеялся, и она с ним. Им стало ловко, весело, они сейчас почувствовали, что во всем обеде только между собою и могут вести они разговор людей, понимающих друг друга. Появление этого «брatца» сегодня – после сцены в амбаре, пред открывающейся перед нею вереницей деловых забот и одиночества – разом освежило Анну Серафимовну... Недаром, точно по предчувствию, спешила она к тетке. Ей, конечно, было бы приятнее найти в Семене Тихоновиче побольше изящества в манерах и в говоре; но и так он для нее был подходящий человек... В нем она учуяла характер и живой ум. Такой малый не выдаст... Остался мальчишкой в погроме дел отца, не пропал, учился, побывал в Америке... Не шутка! И все-таки не важничает, не тычет в нос заграницей, говорит сильно на «о», напоминает ей своим тоном детство. Да еще моложе ее на два года!..

Любаша с прихода Рубцова заметно притихла. Она прислушивалась к разговору его с Анной Серафимовной, начала насмешливо улыбаться, от жареного – подавали индейку, чиненную каштанами, – отказалась и сложила даже руки на груди, а рот вытерла старательно салфеткой. Она не нападала на этого «брatца» так смело, как на шурина, а больше отшучивалась.

За пирожным – яблочный пирог со сливками – Рубцов, видя, как она пустила шарик в нос одному из техников, сказал ей тоном взрослого с девочкой:

– Без пирожного оставим!.. Который годок-то?

– Двадцать лет! – ответила она и хотела ему показать язык.

– Хорошо, что я сегодня здесь около бабушки сижу, – обратился он к Анне Серафимовне, – а то кузиночка-то все книжками меня пугает. Все насчет обмена веществ... Штоф-вексель³⁴. Из физиологии-с!..

– Я вижу, что тебе хорошо там – присоседился, – подхватила Любаша и начала шептаться с подругами.

Все три девицы встали из-за стола, гремя стульями. Любаша, когда приходилось «прикладываться» – так она называла целование руки у матери, – не могла не заметить Рубцову и Анне Серафимовне:

– Вас теперь, я вижу, и водой не разольешь.

– Что мы, собаки, что ли? – возразил Рубцов. – Эх, кузиночка! А еще Гамбетту видели живого.

XXXIII

Все перешли в гостиную; но Любаша и остальная молодежь, видя, что Рубцов отошел к окну вместе с Анной Серафимовной, потащила всех в мезонин, где помещался бильярд. Митроша с шурином играть в карты в вист. Для этого приглашена была одна из приживалок – майорша. Марфа Николаевна отдыхала после обеда с полчаса. За стол сели поздно, и глаза у ней слипались.

Она тихо подошла к племяннице, взяла ее за плечи, поцеловала в лоб и поглядела на Рубцова, стоявшего немного поодаль.

– Видишь, Сеня, сестрица-то у тебя какая?

И старуха нежно погладила племянницу по волосам. Глаза Анны Серафимовны так и горели в полусвете гостиной, где лампа и две свечи за карточным столом оставляли темноту по углам.

Рубцов загляделся на свою «сестрицу».

– Вам, тетенька, бай-бай? – спросила Анна Серафимовна.

³⁴ Обмен веществ (от нем.: Stoffwechsel).

– Я на полчаса. Ты посидишь?

– Детей я не видала с утра.

– Не съедят... Ну, я пойду, велю вам сладенького подать.

Тут только Анна Серафимовна вспомнила про ананас. Его сейчас принесли. Тетка была тронута и сказала шепотом:

– Пускай постоит! Тем не стоит давать.

Согнутая спина старухи, с красивыми очертаниями головы, исчезла в дверях следующей комнаты.

Рубцов указал Анне Серафимовне на два кресла у окна.

– Курите?

– Нет!

– Папенька не позволял? Он ведь на этот счет строг был.

– И у самой охоты не было.

Ей делалось все ловчее с ним и задушевнее, хотя он и не смотрел особенно ласково. Домашние обиды и дрянность мужа схватили ее за сердце, но она подавила это чувство. Она не станет ему изливаться. После, может быть, когда сойдутся совсем по-родственному.

– У вас сколько же деток? – спросил он, закуривая собственную хорошую сигару.

– Двое: мальчик и девочка.

– Красные детки? – Про мужа он не стал спрашивать – она догадалась почему; сказал только вскользь: – Супруга вашего показали мне раз на выставке, в Париже.

Однако она сообщила ему, между прочим, когда подали им фрукты и конфеты, что берет все дело в свои руки.

– Ой ли? – вскрикнул он и встал.

Тут он расспросил ее про размеры дела, про мануфактуры мужа и про ее суконную фабрику. О фабрике она говорила больше и заохотила его посмотреть, и про свою школу упомянула.

– Хвалю! – кратко заметил он.

С директором у ней мало ладу, а контракт его еще не кончился. Директор – немец, упрям, держится своих приемов, а ей сдается, что многое надо бы изменить.

– Вы бы заглянули, – пригласила она.

– Как, вроде эксперта? – спросил он с ударением на «э».

– Вот, вот!

Прибежала Любаша угощать их «своими конфетами», поднесенными ей Мандельштаубом.

– Маменька-то, – рассказала она им, – ни с того ни с сего генеральшу прикармливать стала, а та у ней серебряный шандал и стащила.

– Ах! – пожалела Анна Серафимовна.

– Да, все вышли, а она и стибрила. Зато настоящая генеральша... У ней кто чином выше из салопниц – тот ее и разжалобит скорее.

Они ничем не поддержали ее балагурства. Любаша убежала и крикнула им:

– Естественный подбор!..

Анна Серафимовна поняла намек. Рубцов крякнул и мотнул головой.

– Чудеса в решете, – начал он. – Москательный товар и происхождение видов Дарвина... и приживалки-генеральши!

– Нынче так пошло, – точно про себя заметила Анна Серафимовна.

– Да, на линии дворян, как мне на той неделе в Серпухове лакей в гостинице сказал.

Так они и проговорили вдвоем. Она узнала, что Рубцов еще не поступил ни на какое место. Всего больше рассказывал он про Америку; но у янки не все одобрял, а раза два обозвал их даже «жуликами» и прибавил, что везде у них взятка забралась. Францию хвалил.

Партия в вист кончилась. В зале стали играть и петь. Любаша играла бойко, но безалаберно, пела с выражением, но ничего не могла доделать.

– Ничего не любит кузиночка-то, – выговорил Рубцов, – только тешит себя!

Из половины Митроши доносились звуки корнета и гул механических фортепьян. Профессора он поил венгерским и угостил хором:

«Слався, слався, святая Русь!..»

XXXIV

Засвежело. Анна Серафимовна уехала от тетки в десятом часу. Рубцов проводил ее до коляски. Она взяла с него слово быть у ней через три дня.

– Муж уедет, – говорила она ему, – по делам управлюсь... Тогда на свободе... Буду ждать к обеду...

Коляска поднималась и опускалась. Горели сначала керосиновые фонари, потом пошел газ, переехали один мост, опять дорога пошла наизволок, городом, Кремлем – добрых полчаса на хороших рысях. Дом тетки уходил от нее и после разговора с Рубцовым обособился, выступал во всей своей характерности. Неужели и она живет так же? Чувство капитала, москательный товар, сукно: ведь не все ли едино?

«Затеи. Один дудит в трубу, другая озорничает, ничего не любят, ни для чего не живут, кроме себя. Как еще не повесятся с тоски – удивительное дело!»

Ефим сдержал лошадей у крыльца. Анна Серафимовна негромко позвонила. Сени освещались висючей лампой. Ей отворил швейцар – важный человек, приставленный мужем. Она его отпустит на днях. Белые, под мрамор, стены сеней и лестницы при матовом свете лампы отсвечивали молочным отливом.

На верхней площадке ее встретила не старая еще женщина – ее доверенная горничная-экономка Авдотья Ивановна, в короткой шелковой кацавейке и в «головке». Она ходила беззвучно, сохраняла следы красивых черт лица и говорила сладким московским говором.

– Что дети? – тихо спросила Анна Серафимовна.

– Уложили-с – започивали. Мадам тоже ушедши из детской.

При детях состояла англичанка бонна. Авдотья Ивановна пошла вперед со свечой через высокие, полные темноты парадные комнаты. Половина Виктора Мироныча помещалась внизу. Когда Анна Серафимовна бывала в гостях и даже дома одна, ни залы, ни двух гостиных не освещали.

Дом спал, со своей штофной мебелью, гардинами, коврами и люстрами. Чуть слышались шаги обеих женщин.

– Барин заезжали недавно, – не поворачиваясь, доложила Авдотья Ивановна.

Она всегда что-нибудь сообщит про «барина», хотя Анна Серафимовна и не поощряла этого. Через коридорчик прошли они в детскую.

– Не разбуди, – шепотом сказала Станицына Авдотье Ивановне, останавливая ее у дверей.

В детской стоял свежий воздух. Лампада за абажуром позволяла разглядеть две кровати с сетками. Мать постояла перед каждой из них, перекрестила и вышла.

В своей спальне, с балдахином кровати, обитым голубым стеганым атласом, Анна Серафимовна очень скоро разделась, с полчаса почитала ту статью, о которой спрашивал ее Ермил Фомич, и задула свечу в половине одиннадцатого, рассчитывая встать пораньше. Она никогда не запирала дверей.

Часу в четвертом она проснулась и закричала. Ей почудилось во сне, что воры забрались к ней. Спальня тонула в полутьме лампадки.

– Кто тут?! – дико крикнула она и села в постели, вскинув руками.

– Anna! C'est moi! ³⁵ – проговорил голос ее мужа, нетвердый, но нахальный. – Не бойся!.. Она сейчас накинула на себя кофточку. От Виктора Мироныча пахло шампанским. В полусвете виднелись его длинные ноги, голова клином, глаза искрились и смеялись.

– Что вам нужно от меня? – гневно и глухо спросила она.

Муж уже сидел у ней на кровати.

– Анна! – говорил он не очень пьяным, но фальшиво чувствительным голосом... – Зачем нам ссориться? Будем друзьями... Ты видела сегодня – я на все согласен... Но тридцать тысяч... C'est bête... ³⁶ Согласись! это... это... Это глупо... (фр.).

Вмиг поняла она, в чем дело.

– Вы проигрались?..

– Mais écoutez... ³⁷

– Проигрались? – повторила она и совсем села в постели. – Не лгите! Сколько? Сейчас же говорите!

Он был так ей гадок в эту минуту, что рука зудела у нее...

– Не кричите так!.. – обиделся он и встал.

– Сколько? Ну, все равно, завтра мы увидим. Но уходите, Виктор Мироныч, ради Бога, уходите!

– Будто я так?.. Je vous donne si peu sur la peau ³⁸.

И он захохотал... Вино только тут начало забирать его... Но не успел он повернуться, как две нервные руки схватили его за плечи и толкнули к двери.

Долго, больше получаса, в спальне раздавалось глухое женское рыдание. Анна Серафимовна лежала ничком, головой в подушку.

³⁵ Анна! Это я! (фр.).

³⁶

³⁷ Но послушай... (фр.).

³⁸ Я вас так мало трогаю (фр.).

КНИГА ВТОРАЯ

I

Утром, часу в десятом, перед подъездом дома коммерции советника Евлампия Григорьевича Нетова стояла двухместная карета. Моросил октябрьский дождик. Переулок еще не просыпался как следует. В нем все больше барские дома и домики с мезонинами и колоннами в александровском вкусе. Лавочек почти нет. Бульвар неподалеку. Дом Нетову строил модный архитектор, большой охотник до древнерусских украшений и снаружи и внутри. Стройка и отделка обошлись хозяину в триста тысяч, даром что дом всего двухэтажный. Зато таких хором не много найдешь на Москве по фасаду и комнатному убранству.

Кучер, в меховом кафтане, но еще в летней шляпе, курил папиросу. За дышло держался одной рукой конюх в короткой синей сибирке, со щеткой в другой руке. Они отрывочно разговаривали.

- Куды-ы? – переспросил кучер, не выпуская изо рта папиросы.
- Сказывала Глаша – за границу.
- Вот оно что!..
- Легче будет.
- Это точно... Он куды проще...
- Однако тоже бывает привередлив...
- С таких-то миллионов будешь и ты привередлив...

Швейцар отворил наружную массивную дверь, за которой открылась стеклянная. Он улыбнулся кучеру и почистил бронзовое яблоко звонка.

– Скоро выдет?.. – крикнул ему конюх.

– Одевается, – смешливо ответил швейцар, не очень рослый, но широкий малый, из гусарских вахмистров, курносый, в гороховой ливрее – совсем не купеческий привратник.

Он потер еще суконкой чашку звонка и ушел. Дождь немного стих; вместо дождя начала падать изморось.

– Эж ее! – заметил флегматично кучер и дернул вожжой: правая лошадь часто заигрывала с левой и кусала дышло.

Дернул ее за узду и конюх.

Разговор прекратился; только слышно было дыхание рослых вороных лошадей и вздрагивание позолоченных уздечек.

Швейцар вернулся в сени. То были монументальные пропилеи. Справа большая комната для сбережения платья открывалась на площадку дверью в полуегипетском, полувизантийском «пошибе». Прямо против входа, над лестницей в два подъема, шла поперечная галерея с тремя арками. Свет падал из окон второго этажа на разноцветный искусственный мрамор стен и арки и на белый настоящий мрамор самой лестницы. Два темно-малиновых ковра на обоих подъемах напоминали немного вход в дорогой заграничный отель. Но стены, верхняя галерея, арки, столбы, стиль фонарей между арками, украшения перил, мебель в сенях и на галерее выказывали затею московского миллионщика, отдавшего себя в руки молодого славлюбивого архитектора.

Ступени лестницы, стены и арки отливали матовым блеском; ничто еще не успело запылиться или потускнеть. Видны были строгость и глаз в порядках этого дома.

Швейцар тотчас же подошел к мраморному подзеркальнику, отряхнул и обчистил щетку и гребенку, две шляпы и бобровую шапку, лежавшие тут вместе с несколькими парами перча-

ток. Потом он вынес из несколько низменной комнаты, где вешалки с металлическими номерами шли в несколько рядов, стеганую шинель на атласе, с бобром, и калоши, бережно поставил их около лестницы, а шинель сложил на кресло, выточенное в форме русской дуги. Другое, точно такое же, стояло симметрично напротив. Сам он подошел к зеркалу, поправил белый галстук и застегнул ливрею на последнюю верхнюю пуговицу.

На галерее видны были снизу два официанта в темных ливреях с большими золотыми тисненными пуговицами. Один стоял спиной влево, у входа в парадные комнаты, другой – в средней арке.

- Оделся? – полушепотом спросил швейцар.
- Нет еще... Викентий ходит у двери. Стало, не звал.
- А на женской половине?..
- Не слышно еще...

Вправо с галереи проход, отделанный старинными «сенями» с деревянной обшивкой, вел к кабинету Евлампия Григорьевича. Перед дверьми прохаживался его камердинер Викентий, доверенный человек, бывший крепостной из дома князей Курбатовых. Викентий – седой старик, бритый, немного сутуловатый, смотрит начальником отделения; белый галстук носит по старинному – из большой косынки.

Он прохаживается мелкими шажками перед дверью из карельской березы с бронзовыми скобами. Не слышно его шагов. Больше тридцати лет носит он сапоги без каблуков, на башмачных подошвах. С тех пор как он пошел «по купечеству», жалованье его удвоилось. Сначала его взяли в дворецкие, но он не поладил с барыней; Евлампий Григорьевич приставил его к себе камердинером.

Ходит он и ждет звонка. Из кабинета проведен воздушный звонок. Это не нравится Викентию: затрещит над самым ухом, так всего и передернет, да и стены портит. В эту минуту, по его расчету, Евлампий Григорьевич выпил стакан чаю и надел чистую рубашку, после чего он звонит, и платье, приготовленное в туалетном кабинетике, где умывальник и прочее устройство, подает ему Викентий. Часто он позволяет себе сделать замечание: что было бы пристойнее надеть в том или ином случае.

II

Кабинет Евлампия Григорьевича – высокая длинная комната, род огромного баула, с отделкой в старомосковском стиле. Свету в ней гораздо меньше, чем в остальных покоях. Окна выходят на двор. Везде обшивка из резного дерева: дуба, карельской березы, ореха. Потолок, весь штучный, резной, темных колеров, с переплетами и выпуклыми фигурами, с тонкой позолотой, стоил больших денег. Он выписной, работали его где-то в Германии. Поверх деревянной обшивки идут до потолка кожаные тисненные обои в клетку, с золотыми разводами и звездами. Их нарочно заказывали во Франции по рисунку. Таких обоев не отыщется ни у кого. От них кабинет смотрит еще угрюмее, но «пошиб» вознаграждает за неудобство, разумеется – «на охотника», кто понимает толк. Евлампию Григорьевичу кажется, что он из таких именно «понимающих» охотников. Каждый стул, табурет, этажерка делались по рисункам архитектора. Хозяин кабинета не может никуда поглядеть, ни к чему прислониться, ни на что сесть, чтобы не почувствовать, что эта комната, да и весь дом, – в некотором роде музей московско-византийского рококо. Это сознание наполняет Евлампия Григорьевича особым сладострастным почтением к собственному дому. Ему иногда не совсем ловко бывает среди такого количества вещей, заказанных и сделанных «по рисунку», но он все больше и больше убеждается в том, что без этих вещей и он сам лишится своего отличия от других коммерсантов, не будет иметь никакого права на то, к чему теперь стремится.

По самой середине кабинета помещается письменный стол с целым «поставцом», приделанным к одному продольному краю, для картонов и ящиков, с карнизами и русскими полотенцами, пополам из дуба и черного дерева, с замками, скобами и ключами, выкованными и вырезанными «нарочно». Стол смотрит издали чем-то вроде иконостаса. Он покрыт бронзой и кожаными вещами, массивными и дорогими. До чего ни дотронешься, все выбрано под стать остальной отделке. Хозяину стоило только раз подчиниться, и все, что ни попадало на его стол, отвечало за себя. Фотографические портреты, календарь, бювары, сигарочницы, портфели размещены были по столу в известном художественном порядке. Иногда Евлампий Григорьевичу и хотелось бы переставить кое-что, но он не смел. Его архитектор раз навсегда расставил вещи – нельзя нарушить стиля. Так точно и насчет мебели. Где что было первоначально поставлено, там и стоит. Один столик в форме каравая, на кривых ножках, очень стесняет хозяина, когда он ходит взад и вперед. Он то и дело задевает его ногой; но архитектор чуть не поссорился с ним из-за этого столика. Столику следует стоять тут, а не в другом месте, – Евлампий Григорьевич смирился и старается каждый раз обходить. Даже выбор того места в стене, где вделан нескороаемый шкаф, принадлежал не ему лично.

Два резных шкапа с книгами в кожаных позолоченных переплетах сдавливают комнату к концу, противоположному окнам. Книг этих Евлампий Григорьевич никогда не вынимает, но выбор их был сделан другим руководителем; переплеты заказывал опять архитектор по своему рисунку. Он же выписал несколько очень дорогих коллекций по истории архитектуры и специальных сочинений. Таких изданий «ни у кого нет», даже и в Румянцевском музее...

Над диваном, наискосок от письменного стола, висит поясной женский портрет – жены Евлампия Григорьевича, Марьи Орестовны, снятый лет шесть тому назад, – в овальной золотой оправе. Три-четыре картины русских художников, в черных матовых рамах, уходят в полусвет стен. Были тут и жанры и ландшафты; но попали они случайно: в любители картин хозяин кабинета не записывался – он не желал соперничать с другими лицами своего сословия. Эта охотничья отрасль мало отзывалась вкусами тех «советников» и руководителей, около которых «выровнялся» Евлампий Григорьевич, стал тем, что он есть в настоящую минуту...

На столике-табурете, около письменного стола, допитый стакан чаю говорил о том, что Евлампий Григорьевич в уборной, надевает чистую рубашку после вторичного умывания. Запах сигары ходил по кабинету, где стояла свежая температура, не больше тринадцати градусов.

III

Уборная разделена на три части: вправо туалет и помещение для того платья, какое приготовлено камердинером; влево мраморный умывальник с кранами холодной и горячей воды, на американский манер, с разноцветными мохнатыми и всякими другими полотенцами... Спальня переделана из бывшей гардеробной. Это довольно низкая комната, где всегда душно. Но больше некуда было перейти Евлампий Григорьевичу, когда Марья Орестовна, ссылаясь на совет своего доктора, объявила мужу, что отныне они будут жить «в разноту». Он смирился, но с тех пор все еще не утешился.

Ему минуло недавно сорок лет. Сложения он сухого; узкая грудь, жидкие ноги и руки; среднего роста; бледное лицо скучного сидельца. Его русая бородка никак не поддается щетке, она торчит в разные стороны. Стрижется он не длинно и не коротко. Глаза его, с желтоватым оттенком, часто опущены. Он не любит смотреть на кого-нибудь прямо. Ему то и дело кажется, что не только люди – начальство, сослуживцы, знакомые, половые в трактире, дамы в концерте, свой кучер или швейцар, – но даже неодушевленные предметы подмигивают и подсмеиваются над ним.

В это утро он серьезно озабочен. Ему предстоят три визита, и каждый из них требует особенного разговора. А накануне жена дала почувствовать, что сегодня будет что-нибудь чрезвычайное... И уступить надо!.. Нечего и думать о противоречии... Но и уступкой не возьмешь, не сделаешь этой неуязвимой, подавляющей его во всем Марьи Орестовны тем, о чем он изнывает долгие годы... Только ему страшно взглянуть ей в «нутро» и увидеть там, какие чувства она к нему имеет, к нему, который...

Но сколько раз попадал он на зарубку того, что он положил к ногам Марьи Орестовны, – и все-таки облегчения от этого не получил...

Рубашка застегнута до верхней запонки. Нетов позвонил и перешел в кабинет, – у него была привычка одеваться не в спальней и не в уборной, а в кабинете.

Викентий вошел, перенес платье в кабинет, положил его на древнерусские козлы с собачьими мордами по концам и стал подавать разные части туалета, встряхивая их каждую отдельно, как это делают старые слуги из крепостных, бывших долго в камердинерах.

Нетов оглянулся на окно и, скосив рот, – зубы у него большие, желтые, – сказал:

– На дворе-то какая скверь!

– Упал барометр, – в тон ему заметил Викентий.

– Какой фрак приготовил? – спросил Нетов.

– Второй-с.

Он часто с утра надевал фрак. Ему приходилось председательствовать в разных комитетах и собраниях. Заезжать переодеваться – некогда.

– Орден прикажете? – осведомился Викентий, когда натянул на плечи барина фрак не первой свежести – деловой фрак.

– Не надо...

Нетов надел бы и свою Анну и Льва и Солнца второй степени, но Марья Орестовна формально ему приказала: ничего на шею не надевать, пока не добьется Владимира, а персидскую звезду пристегивать только при приемах каких-нибудь именитых гостей. Ордена лежали у него в особом кованом ларце с серебряными горельефами. Заказал себе он маленькие ордена для вечеров, но и этого не любила Марья Орестовна. Она говорила, что Анну имеет всякий частный пристав.

– Узнай, можно ли к Марье Орестовне?

Нетов никогда не произносил имени своей жены перед камердинером не смущаясь, без внутренней потуги. Ему все сдавалось, что этот барский «хам» с своей чиновничьей наружностью говорит ему про себя: «Эх ты, кавалер Льва и Солнца, в крепостном услужении находишься у бабенки!»

Викентий вышел. Нетов взял со стола портфель и ждал не без волнения.

– Не выходили, – доложил, вернувшись, Викентий.

Нетов вздохнул. Этак лучше. Не сейчас надо испивать чашу.

IV

Официанты, по знаку Викентия, выпрямились. Мимо одного из них прошел «барин», – прислуга так называла Евлампия Григорьевича, – не глядя на него. Ему до сих пор точно немножко стыдно перед прислугой... А в каком сановном, хотя бы графском или княжеском, доме так все в струне, как у него?

Без Марьи Орестовны он никогда бы сам не добился этого, кровь бы «разночинская» не допустила.

Лакей отвесил ему поклон. Барыня приказала и этому официанту и другим людям брить себе все лицо и волосы подстригать покороче. У ней зрела мысль напудрить их в один из больших приемов и расставить по лестнице. А при этом разве допустимы усы и даже бакенбарды?

Швейцар издали увидел Евлампия Григорьевича и встряхнул еще раз шинель, а не пальто: холодно и моросит. Викентий шел позади барина; дойдя до лестницы, он сбежал по другому сходу и взял шинель из рук швейцара.

– А пальто вычищено? – осведомился Викентий на всякий случай.

– Готово.

Поклон швейцар отвесил такой же, как и официанты. Немало он натерпелся от барыни. Она долго находила, что он кланяется по-солдатски.

– Шинель прикажете? – спросил Викентий.

– Шинель.

Камердинер накинул на него широкую, с длинным капюшоном шинель с серебристым бобром, простеганную мелкими клетками, самого строгого петербургского покроя, крытую темно-коричневым сукном, немного впадающим в бутылочный цвет. Марья же Орестовна дала ему совет заказать такую шинель у Сарра, в Петербурге.

– Статс-секретарь Бутков носил этикие шинели, – сообщила она ему, – так и называются: «manteau Boutkoff».

Ему бы никогда не догадаться. И действительно, когда он в этой шинели, то ощущает сейчас особую приятность: нет мехового запаха, мягко, руку щекочет атлас подкладки, всего проникает струя порядочности, почета, власти... Пахнет статс-секретарем и камергером.

Швейцар выбежал на подъезд. Конюх торопливо потер щеткой бок одной из лошадей и отскочил в сторону. Кучер перебрал вожжами и заставил пару подпрыгнуть на месте. Изморось все еще шла и начала слепить глаза кучеру.

На крыльцо вышел за швейцаром и Викентий. Он неизменно, делал это. Даже Марья Орестовна должна была сознаться, что не она его этому научила. На лице его всегда был вопрос, обращенный к барину: «Не угодно ли что приказать или что забыть изволили?»

Евлампий Григорьевич всегда говорил ему:

– Ступай.

Но Викентий подсаживал его каждый раз вместе с швейцаром.

В карете Нетов укутался и сел в угол. Портфель положил в особое помещение, ниже подзеркальника, куда можно положить и книгу или газету. Часто он читает в карете, когда отправляется на какое-нибудь заседание.

То, что он найдет там, куда едет по «своим делам» и соображениям, отступило перед тем, что ожидает его сегодня дома до обеда.

Неужели ему весь век так поджариваться на какой-то сковороде?... Точно он лещ, положенный живым в кипящее масло. Это уподобление он сам выдумал. Все есть, и впереди можно еще многого добиться... и в крупном чине будет, и дворянство дадут, и через плечо повесят, может, через каких-нибудь два-три года. Но он страдалец... Разве он господин у себя в доме?... Смеет ли он поступить хоть в чем-нибудь, как сам желает?... Да и уверенности у него нет... А ведь он не дурак!.. И что же нужно такое иметь, чтобы обратить к себе сердце женщины, не принцессы какой-нибудь, а такой же купчихи, как и он?

Евлампий Григорьевич попал на свою зарубку... Что она такое была?... Родители проторговались!.. Родня голая; быть бы ей за каким-нибудь лавочником или в учительницы идти, в народную школу, благо она в университете экзамен выдержала... В этом-то вся и сила!.. Еще при других он употребляет ученые слова, а как при ней скажет хоть, например, слово «цивилизация», она на него посмотрит искоса, он и очутится на сковороде...

V

Первый ранний визит сделал Нетов своему дяде, Алексею Тимофеевичу Взломцеву, старому человеку, по мануфактурному делу – главе крупнейшей фирмы. От него кормилось целое

население в тридцать тысяч прядильщиков, ткачей и прочего фабричного люда. Он придерживался единоверия, но без всякого задора, позволял курить другим и сам курил, читал «светские» книжки, любил знакомство с господами, стоящими за старину, за «Россию-матушку» и единоплеменных «братьев», о которых имел довольно смутное понятие. Взломцев так много занимался по своим делам, что день расписывал на часы и даже родственникам, и таким почетным, как Нетов, назначал день и час и сейчас заносил в книжечку. Жил он один, в большом, богато отделанном доме с парадными и «простыми» комнатами, без новых затей, так, как это делалось лет тридцать – сорок назад, когда отец его трепетал перед полицеймейстером и даже приставу подносил сам бокал шампанского на подносе.

Нетова встретил в конторе, рядом с кабинетом, высокий, чрезвычайно красивый седой мужчина за шестьдесят лет, одетый «по-немецки» – в длинноватый темно-кофейный сюртук и белый галстук. Он носил окладистую бороду, белее волос на голове. Работал он стоя перед конторкой. При входе племянника он отпустил молодца, стоявшего у притолоки.

Они поцеловались.

– Чаю хочешь? – спросил дядя.

– Пил, дяденька.

Евламий Григорьевич не отстал от привычки называть его «дяденькой» и у себя на больших обедах, что коробило Марью Орестовну. Он не рассчитывал на завещание дяди, хотя у того наследниками состояли только дочери и фирме грозил переход в руки «Бог его знает какого» зятя. Но без дяди он не мог вести своей политики. От старика Взломцева исходили идеи и толкали племянника в известном направлении.

– Ну, что же скажешь? – спросил Взломцев, снял очки и заткнул гушиное перо за ухо. Стальными он не писал. Глаза его, черные, умные и немного смеющиеся, говорили, что долго ему некогда растабарывать с племянником.

– Да вот, – начал, заикаясь, Нетов и поглядел на лацкана своего фрака, отчего почувствовал себя беспокойнее, – как насчет Константина Глебовича, он засылал просить... пожаловать к нему... слышно, завещание составил...

– А нешто очень плох?

– Плох, не доживет, говорят, до распутицы.

– Что ж... мы не наследники, – пошутил старик, – за честь благодарим...

– Я вот сегодня хочу к нему заехать в полдень; так... узнать, когда он желает вас просить?

– Да, чтобы верно было... и день и час... Коли может, так вечером. Тут ведь история-то короткая. Читать мы завещание не станем.

– Конечно-с. Только у него есть расчет на душеприказчиков.

– Я не пойду. Так ему и скажи, чтоб извинил меня. Есть люди молодые. Да и своих делов много... Где мне возиться?... Еще кляузы пойдут! Жена остается... А он ей вряд ли много оставит.

– Я полагаю, что не много... Так, на прожитье.

Помолчали.

– Жаль его, – выговорил дядя, – пожил бы.

Нетов вздохнул на особый манер.

– С ним много для тебя уходит, Евламий... Чувствуешь ли ты?

– Помилуйте, дяденька!

– Надо тебе другого Константина Глебовича искать.

– Где же сыщешь?

– Да, ноне, братец, не та полоса пошла... Он для своего времени хорош был... Ну и события... Герцеговинцы... Опять за Сербию поднялись, тут, глядишь, война. А нынче тихо, не тем пахнет.

– Да, да, – повторил Нетов, отводя глаза от дяди.

– Ты достаточно у Лешова-то в обученье побывал. Пора бы и самому на ноги встать. Не все на помочах. Ты, брат, я на тебя посмотрю, двойственный какой-то человек... Чуть любишь, а смелости у тебя нет... И не глуп, не дурак-парень... нельзя сказать; а все это – как нынче господа сочинители в газетах пишут – между двумя стульями садишься... Так-то... Старик добродушно рассмеялся.

VI

У дяди своего Нетов чувствовал себя меньшим родственником. К этому он уже привык. Алексей Тимофеевич делал ему внушения отеческим тоном, не скрывал того, что не считает племянника «звездой», но без надобности и не принижал его.

К Взломцеву Нетов всегда обращался за мнением и редко уходил с пустыми руками.

Помявшись на месте, он сел в сторонку и выговорил:

– Вот опять тоже Капитон Феофилакторович.

– Что еще? – насмешливо спросил старик.

– Да как же, дяденька, вы рассудите... Был все с нашими... Помните, прием добровольцам делал... и по Красному Кресту... И во всех таких... делах... речи тоже говорил... А мы, кажется, оказывали ему всякое почтение. А между прочим, он между нашими врагами очутился.

– Почему ты так думаешь?

– Как же-с! Теперь хоть бы в этой новой газете пошли разные статейки и слухи... Прямо личность называют. Тут непременно по внушениям Капитона Феофилактовича делается.

– Можешь ли доказать?

– Видимое дело, дяденька. – Евлампий Григорьевич заговорил горячее. – Кто же, кроме его, знает разные разности... Хотя бы и про нас с вами?

– А разве и про меня есть что?

– Извольте видеть, прямо-то не смели назвать, а обвиняками. Но узнать сейчас можно.

– Вре-ешь? – все еще весело спросил Взломцев. Евлампий Григорьевич развернул портфель и вынул сложенный вчетверо лист газеты.

– Вот, извольте взглянуть.

Он указал Взломцеву столбец и строку. Старик надел черепаховое *pinse-pez*, взял газету, развернул весь лист, отвел его рукой от себя на пол-аршина и медленно, чуть заметно шевеля губами, прочел указанное место.

С его губ не сходила усмешка, брови не сдвигались... Алексей Тимофеевич не почувствовал себя сильно обиженным. Он часто говорил: «На то и газетки, чтобы быть с небылицей мешать». В статейке имени его не стояло, но намеки были ясные. Подсмеивались над славянолюбием и «квасным» патриотизмом и его племянника и его самого.

– Изволили видеть, дяденька? – начал в тот же тон Нетов. – И к чему же это исподтишка?.. И сейчас «славянолюбцы» и все такое... А сам он разве не в таких же мыслях был?.. Везде кричал и застольные речи произносил... Ведь это, дяденька, как же назвать? Честный человек пойдет ли на такое дело?

Взломцев промолчал.

– И все это один свой интерес...

– А ты думал как? – перебил дядя и тихо рассмеялся.

– Ему, извольте видеть, непременно хотелось прямо в действительные статские... или чтоб Станислава через плечо... А вместо того и коллежского не получил. Так мы с вами, дяденька, тут не причинны.

– Уж ты меня-то бы не вмешивал, – порезче перебил Алексей Тимофеевич.

– Да я говорю вообще, дяденька. Но, между прочим, и вы косвенно... Нельзя же так именитых людей!.. И после того, что он себя выдавал...

– А ты постой... Все это ты так... Очень он тебя испугался, хоть ты теперь и в почете... Ему надо в дворяне выйти или надо ему предоставить место такое, чтобы дела его совсем наладились.

– Это верно-с.

– Канючить, следственно, нечего. Надо его ручным сделать.

– Я и думал то же.

– А придумал ли что?

– Да если что представится... А теперь вот я к нему собираюсь... захватить... Насчет статейки ничего не скажу, а увижу, как он себя поведет.

– С пустыми-то руками явишься?.. умно!..

– Чин-то ему посулить не велика трудность.

– А ты спервоначалу сам получи.

Евламий Григорьевич покраснел. Дядя знал все его сокровенные расчеты.

– Лучше же показать ему, что мы всю его тактику понимаем.

– А ты вот что...

Взломцев потер себе переносицу.

– Ты говоришь, очень Константин Глебович плох?..

– Да как же-с!.. Недели две – больше не проживет.

– Надо будет его замещать.

– Кандидат есть.

– До новых выборов... Кандидат не в счет... Ты ему и посули... да он и не плохой директор будет... Пожалуй, лучше-то и не найдешь.

«И этого придумать не мог, – дразнил себя Евламий Григорьевич, – а вот дядя сейчас же смекнул, в одну секунду! Эх!»

Долго не мог он поднять глаза и взглянуть пристальнее на дядю.

– Так ли? – спросил Алексей Тимофеевич.

Племянник заходил с опущенной головой.

– А ты сядь! В глазах у меня рябит, когда ты этаким манером поворачиваешься.

– Ваша мысль богатая, дяденька!

– Ну и поезжай... Лещову так и скажи, что Алексей, мол, Тимофеевич благодарит за честь, свидетелем распишусь, а от душеприказчиков пускай избавит меня. Довольно и своих делов.

– А вы позволите, если речь зайдет о директорстве... поставить на вид, что Алексей Тимофеевич, с своей стороны, как учредитель и главнейший...

– Можешь, только осторожнее.

– Да уж вы извольте положиться на меня, дяденька.

– Извини, я тебя отпущу.

Старик повернулся к конторке, а потом вбок подал руку племяннику. Нетов так и вышел из конторы с опущенной головой.

«Идей у него своих не имеется! Это несомненно. А кажется, чего было проще сообразить насчет смерти Лещова?.. Вот дядя так голова!..»

VII

К другому родственнику, но уже со стороны отца и более дальнему, Евламий Григорьевич попал в одиннадцать часов. Тот жил около Басманной. Дом у Капитона Феофилактовича Краснопёрого выстроен был на славу, с картинной галереей и зимним садом. Лет двадцать

назад этот предприниматель сильно прогремел в обеих столицах. Чисто русской изворотливостью отличался он. До железнодорожной лихорадки, до банковского приволя он уже пустил в ход целую дюжину обществ, товариществ и компаний. Одно время дела его так порасстроились, что он вынырнул потому только, что успел ловко продать все свои паи. Года на три, на четыре он совсем притих, распродал свои картины, приемы прекратил, ездил лечиться за границу. Потом опять поднялся, но уже не мог и на одну треть дойти до прежнего своего положения.

Никого он так не раздражал и не тревожил, как Евлампия Григорьевича. Краснопёрый служил живым примером русской бойкости и изворотливости, кичился своим умом, уменьем говорить, – хотя говорил на обедах витиевато и шепеляво, – тем, что он все видел, все знает, Европу изучил и России открыл новые пути богатства, за что давно бы следовало ему поставить монумент. Честолюбивая, но самогрызущая душа понимала и ясно видела другую, еще более тщеславную, но одаренную разносторонней сметкой душу русского кулака.

«Целовальник, подносчик, фальшивый мужичонка», – называл его про себя Евлампий Григорьевич и радовался несказанно, когда вдруг все заговорили, что Краснопёрый вылетел в трубу с дефицитом в два миллиона. Он презирал этого «выскачку», как сын купца, хоть и второй когда-то гильдии, но оставившего ему прочное дело, с доходом в худой год до двухсот тысяч чистоганом. Ему не надо ни компаний составлять, ни людей морочить, ни во вся тяжкия пускаться и Европу удивлять. Он, Нетов, – выше всего этого. Но честь они оба любят одинаково. Обоим хочется ленту через плечо и дворянство, для себя самих хочется, – детей у них нет. Так Краснопёрый еще подождет, а у него, Нетова, и то и другое будет. И он как-никак, а почетное лицо. Только держать он себя и на одну сотую не умеет так, как этот нахал. Тот у Господа Бога табачку попросит. Все министры его приятели, с генерал-адъютантами запа nibрата, брюхо вперед, фрак ловко сидит, на всю залу, с кем хочешь, будет своим суконным языком рацеи разводить.

Евлампий Григорьевич даже плюнул в окно кареты за сто сажен до дома своего родственника.

Вот и теперь... Он знает, как тот его примет. Придется проглотить не одну пилюлю. И все это будет «неглиже». Так тебя и тычет носом: «Пойми-де и почувствуй, что ты передо мною, хоть и в почете живешь, – мразь».

Щеки Евлампия Григорьевича покраснели и даже пошли пятнами. Он хотел было взяться за снурок и крикнуть кучеру, чтобы тот поворачивал назад. Но сделать визит надо. Хуже будет. Дяденька Алексей Тимофеевич недаром придумал насчет места директора. Только каково это будет прыгать перед этакой ехидной? Он тебя из-за угла помоями обливает, а ты к нему на поклон с дарами приходишь... «Батюшка, сложи гнев на милость!» Когда Нетов страдал и сердился про себя, голова его усиленно работала. Он находил в себе и бойкие слова, и злость, и язвительность. Если бы он мог вслух так кого-нибудь отделать хоть раз, тогда все бы держали перед ним «ухо остро». Но он чувствовал, что никогда у него не достанет духу. Вся горечь уйдет внутрь, всосется, потечет по жилам и отдастся в горле... Век не вылезешь из своей кожи!

Его еще раз неприятно кольнуло, когда карета остановилась на рысях перед крыльцом. А он не успел дорогой обдумать и того, в каком порядке сделает он свой «подход», с чего начнет: будет ли мягко упрекать или не намекнет вовсе на газетную статейку? Вылезать из кареты надо. Дверь отворилась. Его принимал швейцар.

VIII

И швейцар и остальная прислуга у Капитона Феофилактовича одета по-русски, как кондукторы и прислуживающие при шинельной «Славянского базара», как швейцары контор и многих московских домов, – в высоких сапогах бутылками и коротких казакинах. Не лучше

ли бы было и ему, Нетову, так одеть прислугу?.. А то выдает себя за славянолюбца и хранителя русских «начал», а все в ливреях, точно у какого немецкого принца. Но Марья Орестовна так распорядилась. Ведь и она воспитала себя в славянолюбии; но без ливреи не соглашается жить. А этот вот «подносчик» по наружности во всем из себя русака корчит. Сам фрак носит, но в доме у него смазными сапогами пахнет. Нет официантов, выездных, камердинеров, буфетчиков, одни только «малые» и «молодцы».

Из узкой передней лестница вела во второй этаж. С верхней площадки, через отворенную дверь, Евлампий Григорьевич вошел в приемную комнату, вроде тех, какие бывают перед кабинетами министров, с кое-какой отделкой. К одной из стен приставлен был стол, покрытый полинялым синим сукном. На нем – закапанная хрустальная чернильница и графин со стаканом.

Дожидалось человека три мелкого люда. У дверей кабинета стоял второй по счету казак. Он впустил Евлампия Григорьевича с докладом.

В кабинете – большой комнате, аршин десять в длину, – свет шел справа из итальянского и четырех простых окон и падал на стол, помещенный поперек, – огромный стол в обыкновенном петербургском столярном вкусе. Мебель сафьянная с красным деревом, без особых «рисунков», несколько картин, и позади кресла, где сидел хозяин, его портрет во весь рост работы лучшего московского портретиста. Сходство было большое; только Капитон Феофилактович снимался лет десять раньше, когда волосы еще не так серебрились. На портрете его написали стоя, во фраке, с орденом на шее, в белом галстуке, с модным вырезом жилета и с усмешкой, где можно было и не злоязычному человеку прочесть вопрос:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.